

ЛЕНИНГРАДСКИЕ СКАЗКИ

Юлия Яковлева

Нужки не плачут



Annotation

Вырвавшиеся из блокадного Ленинграда Шурка, Бобка и Таня снова разлучены, но живы и точно знают это — они уже научились чувствовать, как бьются сердца близких за сотни километров от них. Война же в слепом своем безумии не щадит никого: ни взрослых, ни маленьких, ни тех, кто на передовой, ни тех, кто за Уралом, ни кошек, ни лошадей, ни деревья, ни птиц. С этой глупой войной все ужасно запуталось, и теперь, чтобы ее прогнать, пора браться за самое действенное оружие — раз люди и бомбы могут так мало, самое время пустить сказочный заговор. «Жуки не плачут» — третья из пяти книг цикла «Ленинградские сказки». Первая, «Дети ворона», была названа главным событием 2016 года в подростковой литературе, вошла в шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна», попала в международный список «Белые вороны» — среди лучших 200 книг из 60 стран, а также выиграла IN OTHER WORDS крупнейшего британского фонда поддержки детской литературы BOOK TRUST (а права на издание на английском купил у нас Penguin Random House!). Вторая книга цикла — «Краденый город» — попала в лонг-лист премии им. В. Крапивина в 2017 году. Для среднего и старшего школьного возраста.

- [Юлия Яковлева](#)

- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)

- [Глава 17](#)
 - [Глава 18](#)
 - [Глава 19](#)
 - [Глава 20](#)
 - [Глава 21](#)
 - [Глава 22](#)
 - [Глава 23](#)
 - [Глава 24](#)
 - [Глава 25](#)
 - [Глава 26](#)
 - [Глава 27](#)
 - [Глава 28](#)
-

Юлия Яковлева
Ленинградские сказки
Книга третья
Жуки не плачут
1943 год

Глава 1

Крик ткнул между лопаток.

— Шапка! Эй, Шапка!

Голос у Бурмистрова был гадкий, как у взрослого. Пах табаком и таким, что лучше не знать. Следом ударил гогот.

— У тебя там под шапкой что, рога? — начал обычную программу Бурмистров. — Давай, сними, покажи разик.

— Идем быстрее, — попросил Бобка. Хотя Шурка и так прибавил шагу.

— Ты что, лысый?

Слышно было, что шаги позади тоже зашаркали, застучали чаще.

Мимо летели назад низенькие деревянные дома, приподнимали свои кудрявые резные брови. В окна глядели безразлично коты и герань.

— Не беги, — шепнул Шурка. И опять дернул Бобку за руку. — Не гляди на них.

Главное правило ленинградской драки: не показывай, что ты — еда.

В Репейске оно тоже годилось.

— Не оборачивайся.

Потянулся мимо зеленый дым палисадника. В нем еще можно было пересчитать черные стволы. Еще можно разглядеть в кронах черные колючие комочки — птичьи гнезда. Но некогда.

Бобка спиной слушал шаги. Ноги сами просились в бег.

— Шапка! Зачем тебе шапка? Дай шапку поносить, — кривлялся Бурмистров.

— Не даст. Уймись уже, — раздался голос. Насмешливый и слегка усталый.

По голосу — мальчик. Дети так не разговаривают, удивился Бобка; преследователи, похоже, тоже. Лопот шагов наткнулся на эти слова, как на стеклянный щит.

— Че-го-о? — потянул Бурмистров.

Шурка велел не глядеть, поэтому Бобка успел заметить только аккуратно расчесанные кудрявые волосы — пробор будто начерчен.

— Тебя что, корова лизала? — показал пальцем Бурмистров. Аккуратный пробор удивил и его. Бобка понадеялся, что отвлек от них. Но нет.

— Пусть он шапку снимет, — запищал Бурмистров, изображая

маленького. Как ножом по стеклу. У Бобки мороз продрал по коже.

— Дай шапку, — хныкал Бурмистров. — У меня уши мерзнут.

— Тебе не надо, — спокойно оборвал незнакомый мальчик. — А ему нужна. Она от блеска его мыслей защищает глаза простых смертных, имбецил.

Бурмистров ничего не понял.

Свита загоготала, хотя тоже не поняла ничего.

Последнее слово было таким богатым, что Бобка его даже не запомнил. Из древнегреческих мифов, наверное, что-то вроде Ахилла. Мифы Бобке нравились. Бурмистрову, наверное, тоже. Он отстал.

Уж Ахилла-то Бурмистров наверняка знал. Он в каждом классе сидел по два года.

Свернули за угол. Здесь уже было полно прохожих. Поблизости шумел рынок. Громыхали телеги.

Мимо простукала палочкой старуха. Яркая черная тень повторяла все движения: день был пыльный, солнечный, теплый. Старуха покосилась на Шуркину шапку. Но не сказала ничего. У самой на голове какая-то фетровая кастрюля. А прохожие подставляли солнцу темечки, косы, лысины, банты. Бобка чувствовал макушкой его невесомую горячую ладонь. Ветер шевелил волосы на затылке — все не мог решить, как уложить. Шапка торчала как обгорелый пенек. Бобке вдруг стало стыдно за брата. Чего он, в самом деле? Но Шурка заговорил сам:

— Видишь. Я же тебе говорил. Это как с бродячими собаками.

Шаги обоих опять дышали ровно и мерно, коты в окнах казались фарфоровыми. Голос у брата был спокойный.

— Главное — не оборачиваться. Не останавливаться. Не смотреть им в глаза.

— Дак а письмо-то старое, — удивилась Луша, работая локтями.

Письмо и правда было давним. Снег тогда еще был молодым и сильным. С тех пор писем от Вали большого не было.

Из-под красных Лушиных рук ползла мыльная пена. Как снег, что остался только в грязных кучах, которые таяли к началу лета.

— Ну и что, — не отставал Бобка.

Писал Валя большой все равно интересно. Про войну, про окопы, про пушки, про лошадей, про полевую кухню, про старшину Бородина, про командира Кольцова, про много всего разного.

Из выдвинутого ящика комода мелькали красные ручки. Валя маленький проснулся, но не заорал, как обычно, — приглашал поиграть.

Бобка даже не глядел.

Казалось, он пялится на поверхность стола. Старого, чисто выскобленного. И совершенно пустого.

Нет, не пустого. Рожа была та еще. Глазки-шарики. Рот не рот, а пилочки с зубчиками. Щеки и лоб как щитки. Вот бы сюда настоящее увеличительное стекло! Лупу с ручкой, как у Шерлока Холмса. А так все, что он знал с научной точностью, это что длина жука — полтора сантиметра с хвостиком. Маленькие деления означали миллиметры, но миллиметры в первом классе еще не проходили.

Он преградил жуку дорогу линейкой. Жук стукнулся твердым лбом, не смутился — тотчас развернул антенны и шустро побежал в другую сторону.

Бобка чувствовал, просто уверен был, что все эти щитки: на спинке, на брюшке, на лбу и щеках, все эти крепкие наколенники, твердые лапки, усы-антенны, полтора сантиметра — все это еще не весь жук. В жизни и строении жука оставалось еще немало подробностей и загадок, которые не брало человеческое око.

Бобка вынул из кармана мишкин глаз. Поднес к своему. Посмотрел через желтоватое, чуть обожженное с краю выпуклое стекло на изменившегося жука.

Некоторое время слышалось только, как чавкает и чмокает вода в тазу.

Убрал глаз.

— Ну почитай, — опять загудел Бобка.

— Дак уж наизусть его, поди, выучил. Письмо-то.

Луша крутила из простыни веревку. С нее лилась вода.

— Ну и что.

Жук снова толкнулся сухим лобиком в линейку и побежал в другую сторону.

— А стирать кто будет?

Луша вытянула из кучи на полу следующую простынь, утопила в горячей пене и принялась ее пытаться, мучить.

Луша стирала всем, кто мог ей за это заплатить.

— Ты, што ль?

Бобка открыл рот. В сенях грохнуло, тяжко плеснуло. Что думал Бобка, осталось неизвестно, видно было только, что шевельнулись губы. Шурка боком, как краб, втащил ведро. Ноги у него были темные от пролитой воды.

Сдвинул шапку на затылок, почесал лоб: жарко.

Луша легко подняла ведро, опрокинула в кадку на печи. За ним другое. Струя казалась витым металлическим жгутом. Луша брякнула на пол

пустое ведро.

— Давай шапку-то твою тоже постираю. — Она предлагала это с каждой стиркой. И всегда как бы невзначай.

Шурка мотнул подбородком.

— Не? — подняла брови Луша.

— Она не грязная.

Шапка была такая, что сложно было определить ее цвет. Серо-черно-сально-бурый.

— Как скажешь. — И на этот раз не стала спорить.

Шурка сел за стол.

Луша еще немного потеряла об ребристую доску простынь. Стряхнула с рук пену. Открыла заслонку, сунула полено печке в круглый ротик. Потом еще. Еще. Ротик выглядел удивленным: весной печку так не кормили. А потом жадно набросился на еду.

— Фух, — сказал Бобка. — Жарко.

Луша будто не слышала. Летели из-под рук клочья пены. Работала ротиком печка. Шурка молчал. Шапка наливалась жаром. Казалась тяжелой, горячей, мокрой.

«Пех-пех-пех», — донеслось из ящика. Предупреждающее кряхтение, потом разверзлся крик, от которого Валя маленький делался красным. Крик мог значить что угодно: еда, покакал, мокрый, спать, ко мне или все это сразу. Сейчас он значил одно: жарко.

Только жуку, сухому и твердому, было хорошо: в комнате вдруг настало лето.

— Письмо-то читать будем? — Луша отряхнула руки. Как будто забыла, что сама только что говорила: старое же, выучили давно.

— Будем! Будем! — обрадовался Бобка. Столкнул жука линейкой на пол. Тот упал с сухим стуком и тут же дал деру.

Луша обтерла руки. Проверила печь. Подкормила еще. На лбу ее, над губой выступили капельки пота.

Шурка глянул на Лушу. Она делала вид, что не смотрит на него. Лоб под шапкой зудел все сильнее. Печка радостно уплетала поленья. Они потрескивали.

Луша подошла к комоду.

Наклонилась над ящиком. Сняла одеяло. Осторожно вытащила тоненькие руки из распашонки. Валя большой ушел на фронт и не успел сделать сыну кроватку. Он вообще не знал, сын у него будет или дочь. Потому и решили они с Лушей назвать младенца Валею — годится и девочке, и мальчику. Пех-пех-пех заглохло. Теперь тепло Вале нравилось,

он трогал его всем своим голеньким телом.

Луша открыла шкатулку рядом с фотографией Вали большого. Взяла верхнее письмо.

По Шуркиному лбу соскользнула капля пота. На темени, казалось, можно было печь картошку.

«Молчит, гад», — с жалостью подумала Луша. Вздохнула.

— «Милые мои Луша и Валечка», — начала читать. Бобка затаил дыхание, перестал болтать ногой. Под мышками у него была Африка.

— Шур, тебе не жарко?

— Нет.

— А мне что-то холодно, — почти обрадовалась Луша.

— Холодно? — поразился Бобка.

— Ага. Еще-ка подкину.

Печка удивилась. Но дрова взяла. Луша вернулась на место. Села на стул. Взяла лист.

— «Скоро прогоним мы проклятого врага с нашей земли. Наш Валечка будет жить в мире. Как все советские дети».

А печка дышала все жарче.

— «У нас затишье», — читала с выражением Луша.

Ножки перестали мелькать — Валя маленький уснул.

— «Хорошо смотреть на березки в инее и представлять, как они покроются листьями».

Печка лопала во все щеки. Воздух уже казался огненным. Голос Луши закачался, поплыл. Закачалась и поплыла комната с бревенчатыми стенами.

— Шура, ты куда?

— Я, это, дров еще принесу! — крикнул уже в дверях. И выкатился вон.

Дохнуло свежестью.

Шурка вытер лоб. Почесал под шапкой.

Там, в Ленинграде, где на улицах стыли горы снега, сосульки висели саблями, а по стенам комнаты полз иней, он научился в шапке есть, спать, жить. Он и блокаду себе представлял так — в виде шапки, которая туго обхватывает голову.

Снимешь — а разучиться как?

Шурка сел на ступеньку. Весеннее солнце успело поработать над ней.

Город лежал внизу, как рассыпчатая каша на доньшке. Вроде все вперемешку, а в то же время каждое зернышко на виду. И лента из сахарного сиропа — река. Или это растопленное сливочное масло? К каше лучше масло, размечтался Шурка. Солнце пекло макушку. Таяли в небе

облачка. Сливочные. Творожные.

Солнце добиралось до самого дна. Последний кусочек льда уже был похож на смыленное плоское мыльце, тоненькое и остренькое. Повернешься неосторожно — тут же вопьется в ребра. Словно крикнет: «Я здесь!»

Шурка прикрыл глаза. Подставил себя солнцу.

Чувствовал, как края его налились светом, жаром. Еще чуть-чуть — и он сам растает, сольется с облаками, птицами, травой. И тот зимний Ленинград — растает тоже.

— Эй ты! В шапке!

Шурка открыл глаза. Почтальонша смотрела на него снизу. К Лушиной избе дорожка карабкалась по холму, цепляясь за траву. Перед почтальоншей лежал последний подъем.

— Что расселся, как барин? Ты здесь живешь или не здесь?

В руке у нее белел треугольничек. Письмо!

Видно, тяжело ей с сумкой, пожалел Шурка. За день-то набегаяешься.

— Я сейчас! — крикнул, спускаясь. Колени едва поспевали за ступнями.

— Ты в шапке не мерзнешь-то? — уставилась почтальонша. Слишком усталая, чтобы удивляться.

— Не-а.

Лицо почтальонши вдруг показалось Шурке каким-то мятым. Словно она сама никак не могла собрать черты.

— Вот. Лушке. Передай, — выдавила.

Протянула поспешно руку. Ткнула письмо. И спросила запоздало — письмо-то уже отдала:

— А ты кто такой, в шапке-то? Родственничек? Что-то я тебя тут раньше не видела.

Точно. Последнее письмо от Вали большого пришло до того, как Луша взяла их себе.

— Эвакуированный.

Лицо у почтальонши дернулось.

— Вакуированный... Лушка-то добрая, — чуть не плаксиво выкрикнула она. — Свой рот кормить. Дак еще вакуированных взяла. Добрая-то, а толку?

Отвернулась.

— Ишь. Смотри, без обману, вакуированный. Ты смотри! Я потом спрошу, проверю! — пригрозила она уже на ходу, не показывая лица. Голос жалкий.

Странная. Наверное, просто устала.

Шурка подождал, пока ее спина удалится.

Посмотрел на свернутый треугольник. Обрадовался. Военные письма в конверты не клали.

И быстрее, чем мамин голос в голове успел одернуть: «Чужие письма не читают», треугольник зашуршал и развернулся. «Она же нам все потом все равно вслух прочтет», — успокоил Шурка мамин голос. Луша читала так часто, что всех, о ком писал Валя большой, Шурка уже знал, будто своих друзей. Значит, можно.

Ровные печатные буквы стояли вперемежку с фиолетовой путаницей, вписанной от руки.

«Гр-ке», — начиналось письмо.

Шурка испугался. Колени стали мягкими. Не Луше. Гырке какой-то. «Ошибка, — хотел он крикнуть почтальонше, — вернитесь!»

А письмо уже бормотало, как регистраторша, которая заполняет карточку. «Ваш сын, муж, брат, звание», — перечисляли серенькие мелкие строчки. «Фамилия, имя, отчество».

Сердце билось в шее. Шурка сглотнул. Уставился на чернильный серпантин. Но видел только фиолетовые крючки и петли. Зато понял и помятое лицо почтальонши, и скомканный голос.

А печатные буковки были такие ясные, яснее некуда. Так и лупили по голове, каждая как молоточек: «Находясь на фронте, пропал без вести».

И большие молотки:

ЛИНИЯ ОБРЫВА.

Этот обрыв перепугал Шурку больше всего. С какого обрыва?

Он посмотрел еще раз. Нет. Не обрыва. Линия отрыва. Теперь понятно. Еще страшней. Оторвали. У Луши оторвали мужа. Оторвали папу у Вали маленького.

«Там же не написали: ваш папа», — метались Шуркины мысли. Может, ошибка? Да нет же. Они же не знали, что родился Валя маленький. А почему тогда сын и брат? При чем здесь сын и брат?

— Шурка! — закричал с крыльца Лушин голос, беззаботный. — Дрова-то где?

Мысли Шурки тотчас посыпались мелкой крошкой. Но рука сама знала, что делать.

— Сейчас! — крикнул.

— Ты чего? — удивилась Луша. Отметила: глаза на мокром месте.

— Упал, — ответил еле слышно Шурка.

Не надо было это, с дровами, с досадой на себя подумала Луша. Ну

шапка, ну чего? Пусть. Ничего. Отдает.

— Упал, — повторил он. — Но вы не волнуйтесь.

Письмо лежало за пазухой. Шурка едва дышал, чтобы не потревожить его, как ядовитую гадину. А Луша смотрела, смотрела. Наконец сказала:

— Ты это, ничего. Отыщется сеструха ваша.

Шурка вздрогнул, отвернулся. Луша убедилась в собственной догадке. Вздохнула:

— Вот кончится война, все по домам разойдутся, вы вернетесь. И сеструха тоже. Встретитесь.

Шурка не ответил.

— Идем в дом, — сказала Луша. — Обед на столе.

Он послушно поплелся. Вдруг догнала мысль: «А ведь я привык, что Тани нет». Тут же поправил себя: «С нами нет». Но стало еще хуже.

Он сел за стол.

— Ты что, ревел? — удивился Бобка.

Шурка возил ложкой в миске, думал о своем.

Что значит: пропал без вести? Человек ведь, не пять копеек. Как пропал, так и найдется. Волновать людей нечего, быстро пообещал он себе.

И Таня, конечно, найдется тоже.

Глава 2

Луша стукнула окно наружу. Прочитанное письмо Вали большого тут же взлетело и соскользнуло на пол, Бобка скатился со стула — ловить. Белая занавеска замахала рукавами ему вслед. Валя большой без улыбки смотрел из деревянной рамки на катавасию.

— Фух, — сказала Луша, — жарко. — Посмотрела на Шурку, поправилась: — Теперь жарко. А тогда было холодно.

И за два уха поволокла кастрюлю. В своем ящике ахал и постанывал во сне Валя маленький.

Бобка опять вынул из кармана мишкин глаз, приставил к своему. Изучил стены. Стал глядеть в окно — на желтое небо, оранжевый забор, карамельные деревья. С одного края мишкин глаз был обожжен, оплавился; давно еще — когда мишка сгорел в печке в Ленинграде. Бобка привык, что мир был таким — подтаявшим с одного края.

— Почтальонша приходила?

— Нет, — ответил Бобка, не отнимая глаз. Он торчал в окне по пояс.

— Да, — ответил Шурка.

Луша глянула поочередно на обоих:

— Да или нет?

— Мимо прошла, — пояснил Шурка.

«Линия отрыва, — думал он. — У самих точных сведений нет, а пишут. Людей зря пугают. Самих бы их с этого отрыва». Лиловенькая печать, как круглый зубастый ротик, через карман рубашки сосала самое сердце.

— Что-то давно от дяди Вали новенького нет, — заметил Бобка, вытягиваясь обратно в комнату. Шурке захотелось его придушить.

— Он же воюет, Бобка, ты что? — осадил брата. — Некогда ему.

А сам мрачно подумал: дурак, вот ляпнул тоже — некогда! В последнем письме березки-то были еще в инее, а весна уже и сюда добралась. Перелезла через Уральские горы, разжала руки и упала на Репейск огромным жарким кулем.

Луша, к счастью, не услышала: стояла у окна. И не сводила глаз с чего-то.

Вернее, с кого-то.

— Добрый денек, — продребезжал снаружи голос.

— День-то добрый, а ты топай своей дорогой, — нелюбезно ответила

Луша.

— Там кто? — удивился Бобка. Так Луша еще не разговаривала.

— Какую еще пуговку? Топай отсюда.

Шурка поднял голову от тарелки, от своих невеселых мыслей. Он не слышал, что сказала Луша. Но узнал этот сыроватый запах. Он поднимался сейчас от самого дна ее голоса. Запах страха.

Видно, Валя маленький тоже его почувствовал.

«Пех-пех-пех», — беспокойно донеслось из ящика. Луша обернулась на комод, умолкла. Ждала, пока сон Вали схватится.

«Неужели Луша тоже боится?» — с болью подумал Шурка. Чужих глаз в открытом окне. Чужих ушей в стене.

Луша убедилась, что в комодке опасность миновала. Обернулась в окно:

— Чеши-чеши отсюдова, говорю.

— Да что ты всё «чеши» да «чеши». Кот я тебе, что ли, чесаться?

— Топай, говорю, Игнат!

Луша забыла говорить шепотом. «Пех-пех-пех», — снова заработал маленький моторчик.

— Нет здесь для тебя ничего! И быть не может.

Валя маленький дал мотору набрать обороты.

— Да и я думал, что нет. А только вот шел мимо, глядь, а...

Окончательно очнувшись, младенец заорал — как будто проснулся не в своей постельке, а в пруду с голодными крокодилами.

Луша захлопнула окно, крутанула задвижку, дернула вместе занавески. Обернулась — две пары удивленных глаз встретили ее.

— А-а-а, — орал Валя из ящика комода.

— Тьфу, — Луша бросилась к комоду, — чтоб у него зенки повылазили. Разбудил, холера. Разбудил моего гусоньку, — заворковала она совсем другим тоном.

— Кто там был? — поинтересовался Бобка.

Луша вынула Вальку из ящика.

— Шастают. Всякие. — И торопливо прибавила: — Всё, теперь у меня руки заняты. Шурка, деньги возьмешь...

Она кивнула подбородком в сторону комода. Но Шурка всё уже понял.

— Я сбегая! — Он отложил ложку.

— Да что ты сорвался-то? Доешь, пока горячее.

— Сытый!

От лиловенькой гадины надо было избавиться, чтобы никто больше ее не видел. Никто и никогда.

— Я с тобой, — увязался Бобка.

— Обойдусь.

— Я с тобой!

— Ты копаешься.

— Я уже одет!

— Да не бегите! Доешьте! Куда? — крикнула Луша уже в сени.

Глава 3

— Стой здесь, — приказал Шурка.

— Я с тобой.

— Еще чего! Так до вечера будем эту картошку покупать.

Можно подумать, большое дело. За раз всегда покупали три картофелины, ни одной больше, — Луше, Шурке и Бобке. Свои припасы у Луши давно кончились: два лишних рта расправились с ними быстро. Хорошо хоть Вале маленькому человеческой еды пока не полагалось.

— Стой, сказал.

Бобка надулся: раскомандовался тут.

Шурка, видно, заметил гримасу, потому что объяснил:

— Затопчут, затолкают, потеряешься — как потом тебя найду?

— Да понял, понял, — буркнул Бобка.

Шурка быстро ввинтился в толпу, будто его всосало.

Толкались на рынке и правда здорово. Каждый, кто сюда входил, невольно менял шаг: вместо взад-вперед — влево-вправо, раскачиваясь всем телом. Как будто главное было не дойти куда-то, а толкнуть по пути побольше народа. Поэтому рынок и назывался толкучкой, сделал вывод Бобка.

Стояли только те, кто держал в руках что-нибудь ненужное: примус, ношеную юбку, кусок ткани или бутылку с чем-нибудь невкусным. Если кто-то продавал вкусное, например картошку или мед, тотчас выстраивалась колючая, нетерпеливо-озабоченная очередь.

Человек в кепке поодаль продавал как раз мед.

— Мед наш, сибирский. Лесной. Калория к калории. Каждый витамин на месте, — нахваливал он.

Ни к чему — очередь и без похвал выстроилась.

А брали как нехотя:

— Мне одну ложку.

— Мне ложку без горочки.

— Две ложки.

В очереди не видно было, кто местный, а кто эвакуированный. Раньше было видно, глазел и думал Бобка: одни граждане были одеты как в Ленинграде, а может, и Москве, а другие — по погоде. Теперь же на всех было того и другого почти поровну: теплые платки и лакированные туфельки, бархатные шляпки и толстые носки. Как будто приезжие вещи

сами вылезли из чемоданов и узлов и разбрелись по городку, перебрались в чужие сундуки и шкафы.

— Почему? Уж больно дорого у вас, — скривилась женщина. — За такие деньги в Киеве...

Продавец и ухом не повел.

— Не нравится — не бери. — Очередь тут же огрызнулась за него, сжалась плотнее. А Бобка посочувствовал: у него денег тоже не было. Ни на с горочкой, ни без. Над рынком висел ровный громкий гул множества голосов.

Очередь по ложечке, но двигалась быстро. Мед таял — все глубже приходилось продавцу нырять в щекастый бочонок, тянуть из него ложкой вязкую нить. Золотистую, тягучую, сладкую. Бобка отвернулся.

Вынул из кармана стеклянный мишкин глаз. Потер пальцем, отскреб сорное пятнышко. Поднес к своему глазу.

Больше ничего ленинградского у Бобки не было.

— Мальчик. Эй, мальчик.

Сапожки, вышитые цветными нитками, будто расписные, привлекли Бобкин взгляд.

— Мальчик, а что это за пуговка у тебя? Дай посмотреть, — равнодушно попросил человек в сапожках.

Но Бобка был не такой уж маленький, как этот человек думал. Он узнал голос. Вспомнил, как сердилась в окно Луша. Даже имя вспомнил: Игнат. Он понимал, когда равнодушие было напускным, прикрывало... но что? Взрослым Бобка тоже не был.

— Пуговка.

Палец с желтым грязноватым ногтем показывал на мишкин глаз.

— Продай мне ее. — Забубнил, морща нос: — Она у тебя дрянь. Старая, цвет пестрый. Но размер вроде годный. Только ради размера беру.

Говорил слишком торопливо для человека, который осматривает товар нехотя. «Врет», — понял Бобка. Даже усишки у человека выглядели так, будто наспех приклеил под носом два перышка.

— Пиджак надо починить.

И еще глаза выдавали. Цепкие глаза.

— Не продается, — пискнул Бобка.

— Продай! — Схватил его за плечо, уже без всякого притворства. — Я хорошо заплачу! — Бобка сжал мишкин глаз крепче. — Сколько хочешь?

— Воры! — завопил Бобка.

В толпе обернулись. Станный гражданин по имени Игнат от неожиданности разжал пальцы. Бобка дунул со всех ног в толкучий лес ног,

авосек, узлов и кошелок.

— А вот возьму и выйду из договора, — опять пригрозила Прокопыха. Молоко лилось в воронку. Белый столбик в бутылке поднимался медленно: Прокопыха то ли боялась расплескать, то ли ей не хотелось расставаться с ценной жидкостью.

Лила и все поглядывала на толкавшихся мимо покупателей.

— Лушка хорошо пристроилась, — брюзжала Прокопыха. — Кто ж летом знал? Гражданочка! — заметила она в толпе хорошо одетую: на весеннем пальто кусала себя за хвост лиса.

«Вакуированная». Может, из самой Москвы.

— Молочко козье! Жирное! — пела Прокопыха. Но гражданочка прошла мимо.

— Выдра облезлая.

Верно, летом в Репейске никто не знал, что начнется война, что городок разбухнет от «вакуированных». Знала Луша только то, что у них с Валею большим будет Валя — девочка или мальчик. А ребенку нужно козье молоко. Луша и Прокопыха договорились. Все лето Луша помогала Прокопыхе на огороде, заготавливала ее козе сено, мыла, стирала, скоблила.

— Ну я влипла, — жаловалась теперь Прокопыха, пока струя лилась тягуче и тяжело. Несмотря на угрозы нарушить договор, торговала Прокопыха честно — молоко водой, как некоторые, не разводила.

— Мне за это молоко один писатель с Москвы, знаешь, сколько рубликов-то отстегнул бы?

— Шурка, ну скоро? — ныл из-под локтя Бобка.

Он не стал стоять на условленном месте, сам нашел Шурку в молочном ряду. Теперь жался под боком. И беспокойно вертел головой во все стороны.

— До конца жизни как сыр в масле каталась бы.

Шурка молча смотрел на струю. На молоко. «Ну и катитесь», — хотелось ему ответить. В лицо Прокопыхе не глядел: ему казалось, что глаза у нее тоже козьи — желтые, с вертикальными зрачками. Страшные.

— А ты меня не осуждай, — прикрикнула вдруг та. — Ишь, осуждает тут. Сопля еще осуждать!

— Кому война, а кому мать родна, — усмехнулась бабка рядом. Перед ней рогожкой было накрыто масло. Прокопыха на нее только зыркнула.

— Когда мы уже пойдем домой? — снова заскулил Бобка.

— Да что тебе?

В туалет, может, хочет?

— Сходи вон за ларек, — кивнул. Но вид у Бобки был жалкий. Шурка успокоил: — Не увидит там никто.

Ларек был слепой — на деревянных ставнях висел ржавый замок. За ларьком был навален потерявший силу снег, ноздреватый, грязный, как старая вата. Но Бобка не пошел.

А Прокопыха зудела:

— Вот возьму и выйду из договора.

«Катитесь», — хотел сказать Шурка.

Но Вале маленькому нужно было молоко. «Для здоровья». Хотя Шурка сомневался, что от молока, налитого под такие злые слова, здоровью будет польза. Один вред. Если бы молоко было ему самому, он бы так и ответил ей: «Катитесь».

— Большое спасибо, — сказал вслух, ввинчивая в стеклянное горлышко пробку-тряпочку.

Сунул бутылку за пазуху. Прокопыха не отозвалась. Ей уже протягивал рублики и бутылку дородный гражданин в куртке с карманами, и с лица Прокопыхи светила лстивая улыбка.

— Шурка, да что ж ты копаешься, — вился Бобка. Все вставал то с одного бока, то с другого. — Ты как идешь еле-еле!

Прячется, вдруг догадался Шурка. Но вот они вылезли из рыночной толпы, прошли под транспарантом «!ьтаволажоп орбоД». Под ноги им тихо кинулась улица.

Бобка заметно повеселел. «Молочко, — радостно приговаривал он. — С пенкой». Пенку Луша всегда снимала Бобке. Шагал он теперь легко и прямо.

А Шурка, наоборот, помрачнел. Глядел на брата. Теперь уже не сомневался: спер что-то там, на рынке.

Первые недели Бобка удивлял Лушу — ел плохо. «Ты смотри, руки как плетки, — сердилась она. — Дунь — свалишься». Но Шурка понимал. Бобке не верилось, что пирожки — ржанные, несладкие, но все-таки пирожки — правда существуют. Что можно вот так запросто взять пирожок — и съесть. Хлеб Бобка делил на маленькие кубики. Кашу доливал водой.

А потом уже не мог поверить, как можно — не съесть. Когда вот же, лежит перед самым носом: яблочки, сушеный шиповник, кубики масла, булочки, восковые обломки, пропитанные медом.

Ни одному продавцу на рынке такое не объяснишь.

Ленинград — не объяснишь.

— Бобка, — сурово начал он.

— Ой, — перебил брат. — Глянь.

В палисаднике за мокрым забором кружком виднелись мальчишки — кепки смотрят вниз. Казалось, они все вместе танцуют матросский танец «яблочко». Вскидывались ноги. Доносилось ровное пыхтение.

Добавил почти радостно:

— Бьют.

Шурка понял, почему не сразу увидел сам: человек лежал на земле. Били ногами.

Драка — это во всяком случае не плохо. Драка — это благородно. Драка, как гроза, прочищает воздух от застарелых обид. Когда дерешься один на один.

Но в палисаднике не дрались. Там избивали.

— Эй! — крикнул Шурка.

— Что ты! — всполошился Бобка. — Идем.

— Вы что делаете?

— Ты что! Их же там много!

Из палисадника гоготали. Окликать их было так же бессмысленно, как стараться перекричать море. Сочный звук ботинок, врезающихся в чье-то лицо, голову, живот.

Шурка нырнул за пазуху. Выхватил за горлышко бутылку и метнул в палисадник. Бутылка ахнула прямо под ноги и с треском разорвалась, плеснув белым. Танец обмер.

Слышен был только хрюкающий стон. Жертва отплевывала кровь.

Белые кружочки лиц на миг показались Шурке глазами многоногого чудища. И оно уставилось на него.

— Ша-апка-а, — торжествующе потянул Бурмистров. Теперь решали секунды. Половинки секунд. Даже хвостики. Перемахнув через заборчик, Шурка ринулся, прижал подбородок к груди.

Бурмистров еще тянул свое: «...пка-а».

Черным ядром шапка ударила Бурмистрова в живот. Чавкнула весенняя грязь. Шурка зажмурился, ожидая ответного удара. Но удар не последовал. Бурмистров отпрыгнул, завизжал. Страх пополам с отвращением вместе с его воплем взлетел и запутался в зеленых макушках деревьев. Только тогда Бурмистров опомнился, но поздно. Клевреты загоготали, тыча пальцами в вождя:

— Сифа! Сифа! Его Шапка потрогал! Вали. Деру! А то тебя потрогает! Толкаясь, бросились прочь.

Бобка тянул шею, привставал на цыпочки — заглядывал из-за заборчика. Блестели на солнце стеклянные зубки разбитой бутылки.

Вывалянный в грязи еще отплевывался. Но уже стоял на четвереньках. Он поднял лицо с разбитым носом, лопнувшей губой, треснувшей бровью. Кудрявые волосы слиплись от грязи. Но Бобка их узнал: это он тогда назвал Бурмистрова Ахиллом или как-то похоже.

По лицу стекали кровь и молоко. Мальчишка вытер лицо полрой куртки.

Протянул Шурке руку:

— Вовка. Специалист по черному юмору.

Глава 4

Шурке и самому казалось, что внутри у него голубь. Трепыхается, вот-вот вырвется — щекотно и хочется хохотать. Бобка, похоже, чувствовал то же самое.

Специалистом Вовка был и в самом деле. Как бы это ни называлось.

Луша хмурилась.

— Ткни пальцем, — приставал к ней Бобка.

— Тьфу, — сердилась Луша. — Уйди — обварю.

В руках у нее ходил ходуном чан с горячей водой.

Бобка вертелся под ногами. Выпячивал живот.

— Ну ткни.

Луша сдалась. Поставила чан. Надавила.

— А если бы здесь был глаз? — радостно заверещал Бобка и тут же сам захохотал. Луша недоуменно уставилась на него. Потом на Шурку. А Бобка заливался.

— Это еще что такое?

— Черный юмор, — пояснил Шурка, выкладывая картофелины из кармана на стол.

— Чего?

Но вникать было некогда. Луша подхватила чан.

— Молоко поставь в ледник! — крикнула, открывая дверь ногой. Понесла выплескивать.

Шурка и Бобка посмотрели друг на друга. Строго глядел из рамки Валя большой. Как будто обо всем догадывался.

Луша бы не орала. Не плакала. Она сказала бы: «Разбил? Ну ладно, разбил так разбил». Это было хуже всего.

Бобка не выдержал — прыснул первым. Шурка тоже захохотал.

Наверное, это и есть черный юмор, подумал он. Все плохо, хуже некуда. Но почему-то — хорошо.

— Я побежал! — крикнул он, хватая школьный мешок.

— Я с тобой, — быстро отозвался Бобка. Но дверь уже махнула.

* * *

Город не был похож на город. Городом был Ленинград —

составленный из неба, камня и рек, с прямыми улицами и ровными рядами зданий, так тесно поставленных, что между домом и домом невозможно было просунуть и листок бумаги.

Этот город совсем не напоминал Ленинград.

Казалось, кто-то как попало составил одной грудой огромные каменные шахматные фигуры. Ведь как в шахматах: ладья похожа на башню, и слон похож на башню, и пешки похожи на башни, и конь, и король, и королева — но так, что все-таки понятно, что это ладья, это слон, это пешки. Все эти фигуры были песчаного цвета, и только у некоторых головы или ворота сверкали голубым. Такое Таня, впрочем, видела: когда-то давно тетя Вера жила возле ленинградской мечети.

Фигуры стояли грудой. И будто потому, что в шахматах не может быть пешек, коней, ладей больше положенного, остальные дома в городе были простыми коробочками — маленькими, плоскими, низенькими. Они лепились вокруг гигантских шахмат как придется, и как придется вились улицы — тесные, узкие и совсем узенькие.

В этом городе все время пахло хлебом.

Только это был не хлеб (если считать, что хлеб — это который в Ленинграде). Не булка, не кирпичик, не калач. Каждое утро пекари ныряли с головой в длинные раскаленные каменные чулки, налепляли плоское тесто по стенкам. Потом палками подцепляли румяные лепешки наверх. Улицы были такими тесными, что запах лепешек не мог вырваться из них до самого вечера. Тане все время хотелось есть.

Но тоже не так, как хотелось есть в Ленинграде.

Играли дети, все с длинными ресницами. Цокали целеустремленные ослики: ноги такие тоненькие, как только не подломятся под огромным ездоком в толстом халате, или исполинскими вязанками, или толстыми мешками. Люди в толстых халатах сидели и пили чай везде, где только можно присесть и прилечь: под навесами, у ручьев, на обочине. А чашечки без ручек.

Таня поискала тень. Но единственную тень отбрасывала она сама. Прислонилась спиной к горячей стене. Зажмурилась. Открыла глаза: на нее кто-то смотрит. Конечно, смотрят. Маленькие, всегда темные окошки плоских домиков только казались слепыми. Из них тянуло прохладой и любопытством. Пусть смотрят, наплевать. Ноги гудели, гудело в ушах.

Мимо прошел человек. Таня заметила только протопавшие вышитые сапожки.

Ей вдруг показалось, что она начала отделяться от самой себя.

Наверное, тиф.

Тетя Вера сказала, что Таня переболела тифом — когда ей мерещились мишка, серая река, ледяной краденый город и много чего еще. Точно, тиф. У тех, кто поправился, еще долго потом могут быть приступы — удаляющиеся шаги болезни. Так сказала тетя Вера. Шаги в вышитых сапожках.

Хотелось сесть. Но стоя ждать легче. Стена жгла спину. Но и она не могла Таню согреть.

Только почта здесь почему-то была обычной почтой и пахла как заведено — жженым сургучом. Разве что плавился он, должно быть, сам по себе, не нужно было ставить кастрюльку на огонь, как в Ленинграде. Столько солнца! Много, много солнца.

Это от него болит голова. Наверняка. Отчего же еще. Будто голову изнутри тихо точит гусеница, которой кажется, что глазные яблоки — это и есть яблоки.

Оно только слепило ее. Не согревало. «Ненавижу», — прошипела Таня солнцу.

Тетя Вера вышла, и по ее слишком прямой спине Таня поняла: опять ничего.

Не отвечали соседи, сослуживцы, знакомые. Молчало домоуправление. Молчал Ленинград. Будто тетя Вера бросала свои письма не в почтовый ящик, а в жаркий каменный мешок, в котором здесь пекут лепешки.

Они пошли — мимо деревьев, глиняных заборов, ручьев, свежо журчавших в своих уличных ножнах, осликов, роз в садиках, роз на шелковых платьях, полосатых халатов, синих халатов — у Тани опять закружилась голова. Снова возникло чувство, что на нее кто-то смотрит.

Конечно, смотрит, рассердилась она сама на себя. Все смотрят на нас. На приезжих. В одежде, которая не годилась для жары, в ботинках, у которых лопались терпение и подошвы. Приезжих, ничьих. Эвакуированных.

У Тани снова поплыло перед глазами — будто она опять глядела на все двумя парами глаз. Одна Таня и другая Таня. «Это тиф, тиф», — испугалась она, кружение не остановилось. Начало ломить спину.

— Может, они не в Ленинграде вовсе, — подала голос тетя Вера, и Таня ухватилась за него как за якорь. Ненадолго помогло.

— Похоже на то. Точно. Теперь я уверена. Их вывезли. И Шурку, и Бобку. Да. По Ладожскому. А там поездом.

Но в голосе тети Веры больше не было уверенности.

— Напишу в паспортный стол. В горсправку. Есть списки эвакуированных. Выясню, куда еще. Где списки. Должны где-то быть, —

точил ее голос.

С одной стороны — гусеница, с другой — тети-Верин голос.

— Хватит! — огрызнулась Таня.

— Ты что?

— Хватит! Хватит! Хватит!

— Таня, Таня. — Тетя Вера протянула руки, озираясь на прохожих.

Таня отпрыгнула.

А у прохожих глаза узкие. То ли от солнца, то ли от смеха. «Ты что? Совсем? У них просто такие глаза», — надменно подумала другая Таня, нет, не подумала — одернула первую. А первая Таня вопила:

— Вранье!

Они свернули в переулок.

— Таня!..

— Они умерли!

— Перестань, что ты.

— Я знаю! Я видела! Умерли!

Одна Таня кричала, а другая ужасалась: «Что я делаю? Ужас какой. Что со мной такое?» Так плохо ей раньше не было. Все тело словно выкручивалось изнутри, в суставах.

— Их нет! Бобка умер! Шурка умер! Умер! Умер!

И тут же Таню стиснуло в плечах со всех сторон. Не вздохнуть. Нос уткнулся в шерстной запах тети Веры. Коловращение оборвалось. Обе Тани схлопнулись в одну.

Теплая ладонь поглаживала ей затылок. С каждым движением волны боли становились всё ниже, всё тише, всё глаже.

— Ну будет, будет, — приговаривала тетя Вера. — Образуется. Найдем их.

— Я не знаю, не знаю, — пыталась выговорить Таня. Она хотела сказать: «Прости, прости».

* * *

— По протяженности...

Голос умолк. Ненадолго.

— Анды. Кордильеры. Куньлунь. Аппалачи. Скалистые горы. Гималаи.

Опять умолк. Тишина звенела комариным голосом в самые уши. Бобка изо всех сил старался смотреть на карандаш, который выводил слова на бумаге. Выводил и не успевал. «Кунь... Лунь? Или слитно? А потом что

было? Чичи какие-то скалистые».

Голос безжалостно ожил:

— У самого подножья Уральских гор... Уральских гор... гор, — диктовала учительница. Ходила взад-вперед, точно нужные слова были разбросаны по всему классу. — Лежит Репейск...

От каждого повторенного слова голову заливало внутри тестом. Глаза слипались.

— Репейск. Старый город, основанный, по преданию, Ермаком. Ермаком.

Этот ермак представлялся в виде столярного инструмента. Вроде рубанка. Или утюга.

Осторожно ужалило в бок. Скосил глаза. Девочка скосила в ответ.

— Что? — спросил беззвучно Бобка.

— С большой буквы, — расслышал.

— Основанный ермаком...

— Что?

— Болтаете?

Расправа бы последовала. Но сунулась в дверь голова пионервожатой. Щеки красные. Голос запыхавшийся.

— В зал. Всех. Мероприятие.

Бурмистров, вытянув ноги чуть ли не под соседнюю парту, все свистел со своей задней, куда его сослали учителя в надежде, что так он меньше будет отвлекать класс.

— С-с-ст! Ты. Шапка, слышь. С-с-с-ст. Шапка!

Шурка старался не слушать. И все равно слушал — спиной.

— У тебя под шапкой там рога? Ты что ее не снимаешь?

Порхнул почтительный гоготок.

— Бурмистров, — одернула училка. Но ненадолго.

— Шапка! У тебя там под шапкой что, лысина?

Шурке было не до него.

На чердаке пахло пылью. По правилам военного времени было пусто, стояла только бочка с песком — на случай, если война сюда все-таки доберется. В круглое чердачное окошко Шурка видел внизу бурное озерцо большой перемены. Шум доносился всплесками. Бурмистров рыскал среди волн, как акула, стайки мелкой рыбешки так и шарахались врассыпную. «Меня ищет», — понял Шурка и тут же выбросил из головы: некогда. Сел на бочку. Расстелил на коленях чистый листок. Взял карандаш: клякс быть

не должно. Облизнул.

Если бы Луша орала, сердилась, если бы наказывала, было бы куда проще.

«Это не вранье, — успокоил он себя. — Без вести, значит, они сами не знают. А только зря пугают». Лушу следовало прежде всего успокоить. Может даже, обрадовать. Даже если все плохо, может быть хорошо.

И вывел первую строчку:

«Милые мои Луша и Валечка».

Завуч трясла из колокольчика душу. Торнадо, водовороты, завихрения, втиснутые в четыре стены актового зала прямиком со школьного двора, улеглись не сразу. Только тогда завуч поставила колокольчик на стол — как перевернутую донцем вверх рюмку. В окна лупило солнце. Зернышки лиц были обращены к ней. Сонные, ухмыляющиеся, подобострастные, равнодушные. Она привычно ужаснулась: чужие дети, будущие взрослые. Взрослые люди уже проглядывали сквозь эти детские лица. Вот эта, с косичками, — будущая общественница. Эта — мать-одиночка. Прямо-таки написано на еще ясном детском лбу. Этот — неудачник. Этот из тех, кто первым записывается на фронт и первым погибает. В этом уже проглядывает упитанный директор магазина. А по этому — плачет тюрьма. «Бурмистров, не вертись», — холодно приказала завуч. Взгляд ее привычно скользил по поляне голов. Проверял порядок. Натолкнулся — как на обгорелый пенёк.

— Шапку сними, — прошипела она. И тут же забыла. Не до того. — Сегодня у нас! — зычно возгласила она. — В рамках шефской работы. Гость из осажденного героического Ленинграда.

«Шапка! Эй ты, Шапка!» — свистнул шепоток.

— Бурмистров, молчать! — одернула завуч. В дверь актового зала бочком протиснулся гость.

Смущаясь и слегка горбясь от смущения, он быстро вкатился на сцену. Завуч стала бить в ладони, кивать залу. Дети подхватили, зааплодировали. Розовый толстячок в летнем костюме приветливо раскланялся в ответ.

— Товарищи школьники! — обратился толстячок к залу. Речь полилась. — Героическая оборона Ленинграда и мужество горожан...

Завуч кивала головой, как фарфоровая киса. Ей нравилось то, что она слышала. Казалось, ленинградцы воспринимали блокаду как небольшое приключение. Вроде похода с палатками: иногда трудно, но не скучно и сближает. Слова катились, хорошо смазанные маслом, должно быть, сливочным. Сами слова казались оладушками. Завуч даже прикрыла глаза.

Гость говорил о лекториях и профилакториях, о поездах с мясом и мукой. О спектаклях оперетты и концертах. О вагонах с сушеными абрикосами, отправленных для ленинградцев комсомольцами Узбекистана. О веселых огородах прямо на Исаакиевской площади и в Летнем саду. О, о, о. Рассказ начал спотыкаться. Захромал. Завуч обеспокоенно открыла глаза. Увидела недоумение гостя. Румяные губы его продолжали выпекать слова-оладушки, но все какие-то комковатые. Дети, поняла она; что на этот раз? Перевела взгляд на зал. Туда, куда смотрел гость. Нет, не дети. Один. Засаленная шапка среди летних голов — русских, белокурых, гладких или кудрявых. Это об нее цеплялись и взгляд гостя, и его слова. Цеплялись — и застревали.

— Мальчик, тебе не жарко? — удивился гость.

— А он у нас такой, — выкрикнул кто-то.

— Вы не обращайтесь внимания, товарищ лектор, — сладенько пропела королева Катька. — Вы продолжайте.

Гость глядел так, будто только что проглотил эту свалявшуюся шапку и она застряла у него в горле. Спасать его надо было срочно. И завуч ринулась:

— У нас среди эвакуированного населения имеются отдельные представители ленинградцев, — попробовала она вынуть занозу. — Это... Это...

Но никак не могла вспомнить имя этого, в шапке, новенького. Мальчишка в шапке смотрел в пол. Как будто говорили не о нем.

— Вот, — обрадовался гость. — Ты, мальчик, знаешь все это не понаслышке. Верно?

Мальчик в шапке не шелохнулся.

— Верно? — переспросила завуч. Кто-то захихикал.

— Бурмистров, молчать! — быстро огрызнулась она.

— А что я? Это не я, — загудел хулиган Бурмистров.

— Отвечай же, — потребовала она, сверля глазами лоб под шапкой.

— Чуть что — сразу Бурмистров, — ворчало в заднем ряду: там старательно изображали обиду.

«Гадкие, гадкие. Взрослые», — с легким отвращением подумала завуч. И изо всех сил забила в ладоши:

— Скажем спасибо товарищу за яркий интересный рассказ об обороне Ленинграда!

Зал ответил морским прибоем аплодисментов. Бурмистров даже затопал ногами. Мальчик в шапке торчал среди волн, как обломок скалы, завуч старательно не смотрела на него. Аплодисменты поплескались,

угасая, и улеглись совсем.

— Вопросы? — любезно улыбнулся розовощекий гость.

Завуч захотелось вытолкать его вон. Потому что Бурмистров уже тянул руку. Чувствовал на себе взгляды — ждущие. Выжидающие. В палисаднике рухнула репутация, ее надо было восстановить во что бы то ни стало. Шурка глядел в пол.

Может, это какой-то другой Ленинград? Бывают же однофамильцы-люди. А города? Нет, бред. Сердце колотилось, мешало думать.

— Верочка, задай вопрос. — Завуч попыталась спасти всех.

— Верунь, ну ты чего? — подначил Бурмистров.

Отличница Верочка пошла пятнами и тоже уставилась на собственные туфли.

— Дай я задам!

«Наследственность», — шипели учителя. «Хулиганье», «тюрьма плачет» и еще «яблочко от яблони». Отец и старший брат Бурмистрова уже сидели в тюрьме. Он носил шерстяную кепку, тельняшку, грязный белый лоскут, выдаваемый за шарф, прятал, говорят, ножичек в сапоге, в самом деле будто обещая продолжить семейную традицию при первой же возможности.

Гость о подвигах и славе Бурмистрова не знал. Приветливо махнул рукой:

— Пожалуйста, мальчик.

Бурмистров ухмыльнулся. Мальчиком его давно никто не называл.

— Товарищ лектор, кто такие дистрофики?

Завуч выдохнула.

— Это, мальчик, те, кто в героическом Ленинграде вместо того, чтобы окрепнуть духом, морально разложился. Отпал от героического общего настроения. Подвел коллектив.

Бурмистров быстро уточнил:

— Они людей едят?

Гость вытаращился. Бурмистров преувеличенно-наивно вытаращил глаза в ответ.

— Че, правда? — повторил.

Розовый гость сделался одного цвета с собственным костюмом. Но глаза остались цепкими, подмечающими.

Бурмистров откровенно пялился на мальчика в шапке, развлекал зал:

— Шапка. Скажи?

Но гость уже пришел в себя. Теперь он наливался краской в обратную сторону — от белого к багровому.

— Это слухи, мальчик. Их нарочно распускают фашисты и враги народа, чтобы очернить подвиг Ленинграда и подорвать боевой дух ленинградцев.

Но Бурмистров и ухом не повел. Вылупил с деланой наивностью глаза:

— Шапка, а ты людей ел?

Шурка повернулся к Бурмистрову. Глянул в самое донышко его круглых карих капель. И шамкнул челюстями: ам-ам.

— Черный юмор, — выговорил Шурка. Хотел найти глазами Бобку, подмигнуть. Не нашел. Подмигнул Бурмистрову.

Бурмистров обомлел. Соседние ряды заржали.

Воздух наконец просочился в легкие завуча.

— Вон отсюда! Хулиганье! — заорала она, затрясла из колокольчика душу. Зал грянул хохотом, затрещали, загрохотали стулья. Все повалили к выходу, толкаясь, пихая соседей. Мальчишки нарочно врезались друг в друга, взвизгивали девчонки, топали ноги. Шел пятнами гость.

— Назад! — тонул в этом хаосе голос завуча.

Встречались с Бобкой, как уговорено, возле деревянного домика с резными ставнями. В Репейске все дома были деревянными. Были такие, которые, казалось, пробовали вырасти каменными, но доросли до первого этажа, плюнули и дальше вверх пошли как все, бревнышками.

Этот был голубым.

Шурка разглядывал облупившуюся краску — трещины и чешуйки. Хозяин, очевидно, последний раз красил еще до того, как ушел на фронт. Шурка фантазировал, что это чешуя, а дом — спящий дракон: резная остроухая голова на крыше годилась и коню, и змею.

Наконец из-за угла вывернул Бобка. Обычно он вертел своим школьным мешочком как пропеллером, точно без этого не мог бы идти. Но не сегодня. Шурке даже сперва показалось, что Бобка тащит за шкуру кота. Мешочек обвис и бил Бобку по ногам.

Видно, у Бобки мутно было на душе.

Они молча пошли рядом.

— А они там абрикосы трескают, — уронил Бобка. И опять умолк.

«Ясно», — подумал Шурка. С ненавистью вспомнил розовую лысинку.

Надо было как-то начать: объяснить ему насчет этого розовенького гостя, его щек (у кого в Ленинграде были щеки?), о сладеньких абрикосовых враках, о...

Но Бобка заговорил сам:

— А я тебя на большой перемене почему не видел?

Шурка заранее придумал ответ:

— Доску от...

Вранье: доску полагалось оттирать от мела дежурному, но ответ Бобка не дослушал.

— Слушай, Шурка. Ты бы снял эту шапку, а?

Шурке показалось: он падает. Остановился.

— Зачем ты ее носишь?

В голосе Бобки была досада. Такая, которая режет хуже самого острого осколка льда. Но боли Шурка не почувствовал. Не успел. Длинный разбойничий свист пролетел между ними. Оба обернулись. Стая — та, что была в палисаднике, — неспешно пылила им навстречу. Бурмистров впереди. Королева Катька стояла поодаль, прислонившись спиной к углу дома, и делала вид, что греется на солнышке. Глаза зажмурены. Носик ловил запах близкой драки.

— Эй, людоеды, — окликнул Бурмистров. Шурка слышал: он шел ва-банк. Свита простодушно гоготала.

Бобка глянул на брата.

— Не обращай внимания. Они дураки.

— Дистрофики, гы-гы.

— Отвали.

За окном опять дрогнула занавеска. Дрогнула — и задвинулась плотнее. Связываться с ватагой, видно, и здесь никому не хотелось: выбьют стекла — и привет.

Шурка схватил Бобку за руку и попробовал идти, будто никого больше на улице не было.

— Не лезь, а то они и тебя съедят, — пропищало им в спину.

Шурку ткнули между лопаток.

— Кого съели сегодня? Дистрофики!

Шурка уронил школьный мешок. Сжал кулаки.

«Мальчик, а собаку хочешь?» — донеслось с другого бока. Вертеть головой некогда.

— Беги, Бобка, — бросил.

Бобка не двинулся.

«Просто так. Для начала дружбы. Дарю!» — всё уговаривал кого-то голос.

— Беги!

Главное правило уличных драк: бей первым. Шурка размахнулся что было сил. Косточки на руке затрещали. Покатилась сбитая кепка.

Второе правило драк: лицо только кажется мягким. Шурка боднул

наугад головой. И в тот же миг ему показалось, что ему на ухо обрушилась кувалда, а из другого уха вылетела вспышка молнии. Потерял под ногами опору. Их слишком много. Его потащили за ворот. Надо закрыть локтями живот. Но рука схватилась за карман, отлегло: письмо на месте. Тут же у глаз мелькнул ботинок, и в живот будто врезалось пушечное ядро. Дыхание перехватило до темноты в глазах. И следом земля ударила по уху. Шурка повалился мешком — никто его больше не держал и не тащил. Топот грохнул, но оборвался, рассыпался шорохом.

Шурка приказал себе дышать, оперся на руки. Глянул. Бобка сидел, трогая красной рукой нос. Шурка подполз к брату, отнял его руку:

— Дай взгляну.

Бобка был не испуганный. Какой-то слишком тихий. Глядел в сторону.

— Собака, — тихо изумился Бобка.

Черный пес, лохматый, в колтунах, повизгивая, ловил собственный хвост. Крутился на месте. Как будто удивлялся, что у него хвост.

— Собака, ну и что. Ты погоди. Запрокинь голову.

Шурка поглядел. Послюнил палец, потер. Нос не сломан. Кровь из губы.

— Жить будешь.

— Хорошо, мальчик, — запел над ними комариный голосок. — Я понял. Пуговку ты не продаешь. Меняешь?

А потом топнул на кого-то сапожками. Махнул руками:

— Кыш!

И черный пес потрусил прочь.

Глава 5

— Какая еще пуговка? — Шурка поднялся. — Вам чего, гражданин? Идем, Бобка.

Гражданин в вышитых сапожках. Улыбочка. Кривые усики. Сумасшедший, понял Шурка. Или пьяный. Похоже, именно он спугнул хулиганов, и на том спасибо.

— Пуговка, — все нудел он.

— Идите, идите. — Шурка не глядел ему в глаза. Нельзя смотреть в глаза бродячим собакам, сумасшедшим и пьяницам.

— Давай меняться?

— Бобка, идем же, — потянул Шурка брата. Но Бобка почему-то не двинулся.

— А что у вас есть?

— Не у меня, а у тебя! — оживился гражданин.

Чуть не пританцовывал на месте своими сапожками.

«Они что, знакомы?» — не понял Шурка. Бобку наконец удалось сдвинуть с места.

— Ножичек, а? Меняю пуговку на перочинный ножичек. Ты играешь в ножички? Все вы играете. Мальчишки, я хотел сказать.

— Гражданин, отстаньте. Бобка, ты можешь идти быстрее? — рассердился Шурка.

— А лупу? Хочешь лупу? Настоящую, восьмикратное увеличение.

«Что он плетет?» — бесился Шурка. Он терпеть не мог пьяных.

— Отстаньте, — прошипел через плечо. А на лице брата заметил интерес.

— Две лупы. Одну тебе, другую брату твоему!

А дома все уплывали мимо. Только глядели своими распахнутыми глазами, поднимали резные брови.

— Может, заводной паровоз? — не унимался незнакомец.

Шурка чуть ли не бежал. Тащил Бобку за собой.

— А хочешь велосипед? — пел им вслед голос.

В конце концов, мишка всегда желал им добра, рассудил Бобка.

— «Дуглас»? — спросил он, вытягивая шею.

Женщина в платке шла навстречу. Посмотрела пристально. Шурке стало неловко. «Видок у нас, наверное, — с досадой подумал он. — Прицепился психический». Женщина замедлила ход. А потом еще и

обернулась им вслед.

Но гражданин не отставал:

— Самый что ни на есть «Дуглас». С карбидным фонариком.

Но узнать, откуда у незнакомца велосипед марки «Дуглас», Бобка не успел. Перед ними встал холм. Карабкалась вверх тропинка к Лушиному дому.

Сама Луша стояла на крыльце. Руки в боки.

— А ну, Игнат, иди-ка ты отсюда, — нехорошим голосом попросила она. Шурка снова услышал в ее голосе страх. Страх — и угрозу. — А вы, — дернула она Бобку за ворот, — в дом.

— Луша, ты же комсомолка! — не смутился Игнат. — А в старушечьи сказки веришь! В суеверия и мракобесие! Опиум для народа! Я жертва клеветы и интриги!..

Он, может, еще бы что прибавил, но Луша захлопнула дверь.

Глава 6

Шурка взвесил в руке камень. Отбросил: слишком плоский. Ковырнул носком ботинка. Поднял другой. В самый раз. Шурка положил его в шарф, стал скручивать концы. Крутил, крутил. Пока не получилась бомбочка на жгуте. Бобка наблюдал с крыльца.

— Не поможет, — мрачно подал голос.

— Главное — момент внезапности, — заверил Шурка. Бомбочка оттягивала карман пальто. Он и сам не верил, что поможет. Не в такой драке, когда один против многих. Бобка, конечно, не в счет.

— Идем, — сказал он. — Наше дело правое, мы победим.

— Это черный юмор?

— Темноватый.

Бобка вздохнул.

— Мы не можем не ходить в школу, — напомнил Шурка.

«А может, не ходить? Ну ее к черту», — мелькнула мысль. Но Бобка уже спускался с крыльца, уже доверчиво протягивал руку. Шурка сжал его пальцы. Холодные, как сосульки.

С холма спустились спокойно. «Ясен пень, карабкаться им лень», — легко объяснил Шурка. Он старался смотреть во все стороны сразу. Нападение не должно застать врасплох. Бобка смотрел прямо перед собой. Слишком прямо.

До угла тоже дошли без приключений.

Темнел длинный дровяной сарай. До школы далеко, а ближайший дом стоит боком. Ори — никто не увидит. «Если бы я был он, я бы ждал у сарая», — прикинул Шурка. Зря подумал: почувствовал, как Бобкины пальцы сжались в его руке.

— Ты что, Бобка?

Тот вовсе остановился.

— Идем.

— Боюсь я его.

— Брось.

— Чего Бурмистрову от нас надо? Чего он прицепился?

Хороший вопрос.

— Как собаку боюсь, — признался Бобка. — Бешеную.

— Да ну. Чего собак бояться? Их припугни, они и удерут.

Он вспомнил черные искорки, метавшиеся на доньшке глаз.

— Собаки, Бобка, от страха бросаются.

Но почувствовал, как встали дыбом волоски на руках. От сарая отделяли считанные шаги.

Сарай, однако, только глянул на них подслеповатым окошком и тихо пропустил мимо.

«Тогда, наверное, у забора», — решил Шурка. Это было последнее пригодное для драки место. В его, по крайней мере, понимании. Свернули.

У забора маячила фигура.

Цвели сизые, желтые, малиновые пятна. Выглядело даже нарядно — если отвлечься от того факта, что пятна на лице. Кудрявые волосы, как всегда, аккуратно расчесаны: ниточка пробора.

Вовка поднял ладонь:

— Салют! Как вам грим? Пробуюсь на роль человека-баклажана. Вживаюсь в образ по системе Станиславского.

Было ясно, что и ему не по себе. Но голос веселый, нахальный. Шурка проникся к нему уважением.

Дальше пошли втроем. Так же молча.

Здание школы показалось за ветками.

Из всех подходящих для засады мест Бурмистров и его свита не выбрали ни одно. Оставались неподходящие. Все трое ждали нападения в любой момент.

На топот тоже обернулись все трое — одновременно.

— Ой, ой, ой, — задыхалась Верочка.

«Никогда не видел, чтобы Верочка бегала», — удивился Шурка. Она и по школьным коридорам ходила бочком.

— Что скажу!.. Слушайте!

Но продолжала пыхтеть и отдуваться.

— Вы сдаете нормы ГТО, Вера? — поинтересовался Вовка. — Похвально.

Верочка посмотрела на него овечьим взглядом. Юмора она не понимала. Ни черного, ни белого, ни серо-буро-малинового в крапинку.

Перевела дух и выпалила, ликуя:

— Бурмистров пропал!

— Куда? — изумился Бобка.

— Зачем ему это понадобилось? — тут же нашелся Вовка. Но и на его лице Шурка видел замешательство.

— Представляете? — ликовала Верочка. — Он...

Не известно, знакома ли она была с системой Станиславского, но пауза оказалась впечатляющей. Хотелось треснуть Верочку по голове, чтобы

скорее выскочили слова.

— ...Сбежал на фронт!

Бобка, Шурка, Вовка посмотрели друг на друга, но ни один не нашел ответа на лице другого. А после — на Верочку. Та не привыкла, что на нее смотрят мальчишки, начала медленно краснеть. Из-под воротника, шеей, щеками, ушами. Последним запылал лоб.

— Я так думаю, — добавила она. — Никто не знает, где он. И милиционер приходил.

Вовка важно выдвинул губы. Лицо невозмутимое.

— Я знаю.

Бобка захохотал. Он понял, что сейчас будет «черный юмор». Верочка посмотрела на него растерянно, как на сумасшедшего.

— На Камчатке, — не двинув разбитой бровью, сообщил Вовка. Как Шурка позавидовал его невозмутимости.

Верочка смотрела в лиловое лицо. «Да она в него влюбляется! Прямо сейчас!» — поразился Шурка. Верочка погружалась во влюбленность, как в болото. Ноги, платице, пальто. Последними мелькнули бантики. Мелькнули и пропали. Шурке стало немного противно. «Дура», — подумал он. И позавидовал Вовке. На Верочку плевать, не больно нужна, не нужна вовсе. Но как у него так выходит? На все есть ответ!

— Почему это на Камчатке? — почти рассердился он.

— Второгодник и двоечник, — небрежно бросил Вовка. — И по географии тоже. Если побежал на фронт, то точно в другую сторону.

Бобка даже вскрикнул от удовольствия. Какой ответ!

«Нет, я не специалист», — подумал Шурка. Но внутри все равно запрыгало, запело: сбежал. Канул, исчез, пшик, нету.

Он незаметно высвободил из шарфа, уронил на мостовую камень.

На сердце стало легко.

До школы они дошли вчетвером.

— Шурка-а, — привычно аукнула из сеней Луша. — Почта — была?

Шурка приготовился. Ощупал в кармане бумажный сгиб. Напряг мысли и чувства, как напрягают мускулы. Только бы голос был, как обычно.

— Была, — бросил он.

Как обычно вышло? Теперь улыбка. Такая, какая должна быть.

— Была? — странным голосом переспросила Луша. И в тот же миг лицо ее стало круглым и душистым, как розовая роза из Летнего сада. В руке Шурка держал треугольное письмо.

Пальцы ее задрожали. Она цапнула треугольник.

— От него? Почитай вслух! — сразу пискнул Бобка. — Ну почитай!

Но Луша уже выскочила наружу. Как будто это не письмо, а сам Валя большой. И ей хотелось поговорить наедине.

Шурка смотрел на свои пустые пальцы — и не сразу их узнал. Шагнул в комнату. Из выдвинутого ящика мелькали красноватые ножки и ручки.

Шурка подошел к комоду. Валя маленький смотрел на него синими круглыми пуговками. Сердце екнуло: смотрел серьезно. Как бы понимая. Как бы говоря: «Письмо? Ну-ну».

В сених бухал ботинками Бобка — возился со шнурками, бормоча, уговаривая их, ругаясь.

Шурке казалось, что он слышит, как шумит его собственная кровь.

— Ты это, Валя, — выдавил он.

Ему стало так жарко, так жарко. Под мышками, на затылке, в коленях, в животе, за веками, за самыми глазами. Нестерпимо. И почему-то легко.

Шурка стащил шапку.

Голову тут же обложил воздух. Даже здесь, в избе, чувствовалось, что он весенний, арбузный, огуречный, корюшковый.

Шапка в руках казалась тяжелой, мертвой. Шурка постоял, удивляясь ей. Какая черная, уродливая. И забросил высоко на печку. Черный косматый комок мелькнул и пропал. Шурка засмеялся.

Жар заливал до самых кончиков пальцев.

Шурка наклонил лицо к ящику.

— Ты, Валентин, не гляди на меня как милиционер, — принялся вразумлять он младенца. — Не может человек пропасть совсем. И Таня тоже где-то есть. Я знаю. Я не чувствую, что ее — нет. Понимаешь?

Валя маленький открыл рот, поднял губы, показал, что зубов у него еще нет. Глаза глядели прямо Шурке под ресницы. Он улыбается, догадался Шурка. «Луша, — хотел позвать, — посмотри!» Но не стал. А Валя булькал, махал руками, разевал в беззубой улыбке рот.

По стеклу тихонько клацнуло. Или показалось? Шурка прислушался.

— Ха! — весело и громко заговорил за спиной Бобка. Шурка чуть не подпрыгнул. Вздрогнул в ящике и Валя маленький.

— Ты чего подкрадываешься? — рассердился Шурка на брата, а потом сообразил: Бобка вошел в носках.

— А где шапка? — удивился Бобка. Тотчас добавил: — И правильно. Ну ее! Она...

И, чтобы не обидеть Шурку своей радостью, торопливо уточнил:

— Она маловата уже, наверное, была. И вообще.

Опять легонько стукнуло по стеклу. Кто-то кидал камешками.

— Вовка! — кинулся Бобка.

Не его стиль. Шурка подошел к окну, отогнул занавеску. Под руку тут же просунулся Бобка. Шурка почувствовал локтем, что Бобка обмер. Сжался.

Игнат. Улыбнулся, помахал рукой.

— Я положительный, — тоненько задребезжало стекло. — Собаку, вон, подарил.

Игнат поднес кулак ко рту:

— Пуф! — Растопырил пальцы: — И нет его.

Шурке показалось: ему дунули в затылок.

— Какую с-собаку? — прошептал Бобка.

Игнат за окном умоляюще сложил руки. А улыбочка к Бобке — глумливая:

— Не капризничай, малыш. Скажи доброму дяденьке — что. Велосипед не хочешь. Хорошо. Что тогда? — Он изобразил, что задумался. Поднял палец: — А! Может, это тебе понравится. Предлагаю другой обмен. Та-да-а-ам! — изобразил он фанфары, как в цирке.

У Шурки появилось гадкое чувство, что он это где-то уже слышал, видел. Не этого человека, не слова, не голос. Но что-то, что вмещает и человека, и слова, и голос.

Игнат развел руки, как будто ожидая аплодисментов.

— Меняю пуговку — на Таню.

Оба шарахнулись от окна. Занавеска мазнула по лицу, как привидение. Шурка в ней запутался, замахал руками, заорал. Бобка от ужаса заревел — сразу на высшей точке. Тонкий визг из ящика комода ответил обоим.

Луша вкатилась из сеней. Она была раскрасневшаяся, размаянная — как будто из бани.

Тотчас опустила обе руки в ящик комода. Вынула Валю.

— А ну-ка-ну-ка-ну-ка-на-а, — покачивала она его. — Тука-та-а. Ты что это? — удивилась.

«Без шапки», — хотела сказать она. Но вместо этого просто протянула руку, провела по засаленным Шуркиным волосам. И не сказала ничего.

Затих и Валя.

Луша опустила его в ящик комода.

— Тука-та-а, тука-та-а, — еще немного погудела Луша, прежде чем вынуть руки. — Вы что, дрались тут?

Но тотчас забыла. Шурка оказался прав. Расстроить ее больше не могло ничего. Светились Лушины щеки, глаза и даже нос.

Шурка не ожидал, что желудок у него сожмется в комок.

А Бобка всплеснул руками.

В руке у Луши белело.

— Пляшите! — крикнула она им, задыхаясь. — Письмо!

«От мамы», — безумно подумал Бобка ни с того ни с сего. Глаза уже видели: треугольник, значит, военное.

— Пуговичка, — умоляюще донеслось за окном.

Щеки у Луши не погасли. Но лоб нахмурился.

Она сунула письмо в карман. Решительно подошла к окну, махнула занавеской. Она сейчас была сильнее всех в мире.

— А ну иди своей дорогой.

— Мальчик, пошто она меня ругает зря. Скажи ей! — не унимался поганый Игнат. — Я хороший. Я собаку...

Луша обернулась на обоих:

— Какая еще собака?

— Не собака. Пуговка! — подсказали усишки. — Ему мелочь. А мне нужна.

Бобка стал похож на упавшего птенца. От жалости у Шурки дрогнуло сердце. Внезапно все встало на места. «Тогда, на базаре, он стащил у этого сумасшедшего пуговку, — догадался Шурка. — Вот он за нами и увязался».

Но Луша вдруг сделалась твердой, как дубовая колода, на которой рубили на рынке мясо. Шурка и не знал, что она так умеет.

— Пуговку, — выросла она перед Бобкой. — Эту. Сюда. Живо, — приказала, выстрелила она.

Тон был такой, что Бобка сунул руку в карман. Вынул. «Какая же это пуговка?» — удивился Шурка. У него отлегло. На ладони лежал мишкин глаз. Бобка не расставался с ним с самого Ленинграда. Оплавленный. Все, что осталось от сгоревшего в печи мишки. Кому нужен глаз от старой игрушки?

— Это смешно, — начал он.

Но Луша решительно хапнула глаз. Распахнула форточку:

— Чтоб духу твоего здесь не было.

И пульнула глаз вон.

— Спасибо, — успело впорхнуть.

Рама хлопнула.

— Уж не сумлевайтесь. Я ее вам обменяю. Я честный, — задрезало по стеклу.

И стало тихо-тихо. Бобка сжал пустую ладонь в кулак. Подбородок опустил. Слезы совершенной несправедливости кололи горло.

— Какое письмо? — напомнил Шурка. И увидел, как вскинул подбородок Бобка. Как Лушино лицо опять засияло.

Глава 7

Вдруг тетя Вера вскрикнула.

Схватила за голову. И вскрикнула опять.

— Что с тобой? — перепугалась Таня.

Тетя Вера застонала.

— Что с тобой?

Подумала: «Солнечный удар».

Таня еле успела ее подхватить. Тетя Вера сделалась тяжелой, как из сырой глины. И на улице, как назло, ни души.

— Помогите! — крикнула Таня. — Врача!

Глаза у тети Веры стали мутными. Какими-то желтыми.

— Я сейчас! — крикнула ей Таня. — Я сейчас! За врачом! За кем-нибудь! Я мигом!

Подтащила, сколько могла, к дырчатой тени, прислонила к глиняному забору, из-за которого тянуло зеленые лапы дерево. Ноги у тети Веры были неживые, вывернутые. Эти ноги почему-то испугали Таню больше всего.

— Я мигом!

Таня не помнила, как бежала. Как колотилась в калитки. В двери. Что кричала. Как открылась калитка в сад. Как бежали с ней люди: женщина в полосатом длинном платье и косынке и старуха.

Таня прибежала и остановилась.

Переулок был тот.

Дерево — то. Забор — тот. И даже тень не успела изменить свою форму. Только тети Веры не было.

Совсем безлюдным переулок тоже не был. Под деревом, задрав голову, стоял прохожий. Вглядывался в крону. Довольно теребил усишки. Костюм городской, а сапожки вышитые.

Только тети Веры не было.

— Товарищ! — позвала Таня.

Товарищ обернулся.

— Вы женщину здесь не видели?

Тот выпучил глаза. Ахнул. И, мягко топоча сапожками, рванул прочь.

— Вы что?

Скрылся.

Женщина и старуха удивленно смотрели на Таню узкими глазами. Покачали косами. Черные у одной, седые у другой.

Женщина сказала старухе что-то на языке, которого Таня не знала.

— Я не вру, — у Тани закипели слезы. — Тетя Вера была здесь.

— Конечно, не врешь, девочка. — Женщина погладила ее по плечу. — Не волнуйся. Твоей тете стало лучше, и она ушла. Наверное, ищет тебя. Ты стой здесь. Она придет.

Обе ушли.

Таня постояла в кружевной тени.

Опять чувство, что кто-то смотрит.

Но Тане было хорошо и не страшно. Вверху что-то ворохнулось. Подняла голову. Туда, куда глядел гражданин в сапожках. В сложной зернистой массе листвы и веток Таня не сразу заметила птицу, тоже как бы состоявшую из темных и светлых пятен. Сперва приняла ее за ястреба. Конечно, нет.

— Кукушка, — узнала Таня. — Вот дура, — сказала она птице. — Думаешь, раз ты замерла, я тебя не вижу? А я тебя очень даже вижу.

Птица глядела так, будто забыла, что может летать.

Кукушка была обычная, вполне ленинградская на вид. Тане стало весело. Она громко хлопнула ладонями, фыркнула:

— Кыш!

С треском проламывая себе путь сквозь листья, кукушка забила крыльями, вырвалась из зеленой шапки, выкатилась, выровняла лет и в несколько взмахов унесла себя прочь.

Чувство, что кто-то смотрит, пропало. Теперь в переулке точно не было ни души.

— А ждать здесь глупо, — сказала вслух Таня. — Тетя Вера сама, небось, не может найти этот переулок.

Он и правда был одной из таких улочек, в которые можно попасть только случайно и никогда — если специально ищешь.

— А ждет меня дома.

Домом теперь звался угол, отгороженный занавеской, который они снимали в комнате, которую снимала женщина в доме, который... А впрочем, в Бухаре много было таких же, как они, эвакуированных.

И Таня, весело пыля полуразвалившимися ботинками, пошла домой.

Таня шла быстро, но ночь быстрее. Как будто в прозрачный воздух быстрая и уверенная рука влиwała струйкой чернила: голубой, синий, индиго, и вот уже черным-черно во все края. Только твердая остренькая луна давала понять, где верх. Трещали цикады.

Юркнуть за свою занавеску незамеченной не удалось. Хозяйка

комнаты сидела в круге света под абажуром с таким видом, будто покидать этот круг было запрещено. Бились головой в стекло мотыльки — тоже хотели к абажуру. Перед хозяйкой лежало что-то шерстяное, полосатое. Она тут же подняла голову — на лице был испуг. А может, только тень от абажура.

— Что это вы шастаете затемно. Не было уговора шастать по ночам. Вот я сейчас дверь запру, и пусть тетя твоя делает что хочет. На крыльце пусть утра ждет.

У Тани ухнуло сердце: дома тети Веры не было.

Бежать обратно? Но переулочек она в жизни не найдет. Даже если забредет случайно. В темноте все выглядит иначе.

Соседка все смотрела на нее — ждала ответа.

«Пошла к черту», — подумала Таня.

— Извините, — сказала.

— Все шастают и шастают, — не могла унять та, бормотала столу, абажуру, разложенному на столе вязанью. Наконец снова деревянно застучала спицами. Снова стало слышно, как бьются головами в стекло мотыльки: тихий сухой стук.

«Со скуки бесится. Вот и легла бы спать, если скучно», — думала Таня, слушая перестукивание.

За занавеской был полумрак. Таня осторожно села на краешек кровати, где они с тетей Верой спали валетом. Зажигать свечу не хотелось. «Все жгут и жгут», — ныла, если видела свет, хозяйка.

Таня смотрела на круглый отблеск на потолке. «Попала в больницу», — сказала она себе. И тут же поняла, что не верит. В живот будто упал камень — с той самой секунды, как она вошла. От него по телу расползлся холод. «Ничего, — успокоила себя Таня. — Просто ей опять стало плохо. Шла домой — и опять приступ. Завтра обегу больницы». И не поверила сама себе. Тотчас испуганно оборвала мысли. Завтра видно будет.

Не стала раздеваться. Не скинула даже ботинки. Вытянулась поверх покрывала, сдвинула пыльные подошвы так, чтобы они висели с краю. «А кому теперь какая разница!» — успела подумать она. Со злым отчаянием бухнула ноги на середину кровати и, уставившись раскрытыми глазами на желтоватый круг на потолке, стала ждать.

Она только моргнула. Но, когда открыла глаза, потолок был цвета яичной скорлупы, показывал все свои трещинки, а тело стесненно ныло, жалуясь на платье, на ботинки. Особенно на ботинки.

— Тетя попала в больницу, — объяснила Таня хозяйке, хотя та не сказала ни слова. На столе лежали три полосатых носка. Почему три, тупо

удивилась Таня. Один для одноногого? Вид у хозяйки был невыспавшийся. Лицо цвета потолка и морщинки-трещинки.

— Знаешь что, Таня, — быстро заговорила она, глядя на носки. — Мне придется тебе отказать от угла.

— Тетя попала в больницу, — повторила Таня. Хозяйка быстро глянула на нее и снова — на носки. Точно глядела железными бусинами, а носки были магнитом.

— Вам отказать, — поправилась хозяйка. — Я нашла других съемщиков. Они платят больше. И вообще аккуратные. Положительные. Степенные. — Железные бусинки теперь так и прыгали. — Ты уж не обижайся. В городе полно...

— Я иду к тете в больницу, — выдавила Таня.

— Хорошо, — согласилась хозяйка. — Но сюда больше не приходи. Я уже угол сдала... другой семье. Положительной, и платят больше. — Лицо у нее вдруг стало человеческим: — Я тебе по-дружески советую: уходи сейчас же. Искать не станут.

Таня посмотрела на нее.

— На вот, возьми хлеба хоть.

Она протянула ломтик.

Таня молча вышла.

Села на крыльцо.

Тете Вере снова стало дурно, и ее забрали в больницу — самое естественное. Логичное. Очевидное. Но почему же тогда она не бежит в больницу?

Могла тетю Веру, например, сбить машина? За все время в Бухаре Таня видела автомобиль два раза. А смирные замшевые ослики — главный вид местного транспорта — никого не могли бы сбить.

За окном мелькнуло белое пятнышко лица. Умоляющее выражение. Мольба — и страх.

— Сумку! Сумку забыла!

Стукнули отодвигаемые ставни. К Таниным ногам шлепнулась холщовая тети-Верина сумка. От удара из нее выпал кусок хлеба.

Встала, отряхнула сзади платье, подняла хлеб, закинула сумку на плечо и вышла на улицу.

— Товарищ, — остановила Таня прохожего в синем ватном халате. Она уже привыкла, что, несмотря на жару, здесь одевались в теплые стеганные халаты. Снаружи все равно получалось жарче, чем внутри такого халата, или, вернее, то, как жарко было внутри халата, не шло ни в какое сравнение с каленым солнечным жаром снаружи, так что можно было даже

сказать, что в халате прохладно.

Тане казалось, что воздух такой горячий, что невозможно ни вдохнуть, ни выдохнуть. Слова сухой колючкой стояли в горле.

— Чего тебе, девочка? — по-русски спросил он.

— Товарищ. — Таня смотрела немного выше узких глаз, выше коричневого от солнца лба, на черную угловатую шапочку. — Где здесь, — она никак не могла подобрать слово, — держат арестованных врагов народа?

Глава 8

По вечерам Луша опять садилась читать письмо вслух.

Они сидели в круге лампы. Метался огонек, когда Луша поправляла ей стеклянный колпак. Потом на себе — шаль. У себя на коленях — ножку Вали маленького. Ножка сползала. Валя спал. Каша в тарелках дышала.

Шурке хотелось закрыть глаза. Как будто если закроешь глаза, то и время остановится.

Луша читала:

— «Милые Луша и Валечка. Простите, что долго не писал. Не обращай внимания, Луша, что почерк незнакомый». Ишь, поняли как? — подняла от листка лицо Луша. — А я вначале глянула: адрес наш, а почерк не его. Сердце у меня так и оборвалось...

Она даже схватилась за сердце.

Бобка слушал, не сводя с нее блестящих глаз. Возил, не глядя, ложкой.

Шурка сидел на стуле, как прикипел.

Луша уже прочла письмо сама себе, и не один раз. Она его уже выучила наизусть. Теперь она могла, читая, глядеть вокруг, разговаривать, думать, хватать себя за сердце. А первый раз читала так, будто листок мог вырваться из рук и улететь, будто если хоть на секунду отцепила бы взгляд, строчки оборвались бы, исчезли. Все бы оборвалось навсегда.

— Бобка, а ты чего не ешь? Ты ешь, — переключилась она.

Он тоже уже знал письмо наизусть. И все равно каждый раз было интересно.

— Ем, ем, — он утопил ложку.

Луша посмотрела на Шурку. Протянула руку, потрогала его за волосы. Тихонько засмеялась своим мыслям. Снова опустила глаза.

Она знала, что там, но строки не могли надоесть ей, как не могут надоесть лицо, голос любимого человека.

— «Пишет мальчик, по моей просьбе, — продолжала. — Зовут его Санька. Ты, Луша, не пугайся, но я в госпитале».

Шурка нежился в теплых волнах, которые шли то ли от печи, то ли от лампы, то ли от Лушиного голоса. Письмо читали так часто, что он уже и сам начал в него верить.

А Луша читала с выражением:

— «У меня немного ранены руки. Поэтому Санька пишет. Ранены не страшно. Скоро я поправлюсь. Я уже поправляюсь, заживает быстро.

Кормят хорошо. Сестры работают тоже хорошо. Врач хороший».

Легкая рябь пробежала по теплomu Шуркиному миру. «Вот заладил: хорошие да хороший», — с неудовольствием отметил он. Вспомнил, как у него в этом месте кончились прилагательные, как таращилось на него круглое чердачное окошко, как рыскал внизу акулой ненавистный Бурмистров, как пусто было на школьном чердаке — на чердаке, в груди, в голове. И покраснел. Хороший, пусть. А как еще написать про врача?

Главное, Луша была довольна.

— Все хорошо, значит, — сказала она мальчикам. И опять чуть изменила голос, давая понять, что теперь это опять голос Вали большого: — «Только ты мне, Луша, сама пока не пиши. Пока нельзя. Я тебе напишу, когда станет можно».

— Почему? — с подозрением спросил Бобка. Впервые за все время.

Луша подняла голову.

Шурке захотелось толкнуть брата под столом. Двинуть ногой по его стулу. Хлопнуть на голову тарелку с кашей.

Луша и сама призадумалась.

— Порядок, видать, такой. Военное время. Шпионы так и рыскают. Мало ли, — объяснила.

Бобка кивнул, не сводя с нее глаз.

— «Часто лежу я на кровати, — снова начала читать Луша, — и думаю, что скоро мы погоним проклятых немцев с советской земли, люди вернутся в свои дома, а я к вам. Поцелуй от меня Валю. Приветы всем, кого встретишь. Любящий тебя Валентин».

Валя большой всегда начинал и заканчивал свои письма одинаково, на этот счет Шурка не волновался. Луша сложила письмо по сгибам.

— Вот так-то. — Она поднялась, прижимая Валю маленького, — топорщились красные ножки, в руке так и был зажат бумажный треугольник. — Пойду его спать положу.

Бобка опустил ложку.

— А ты, Бобка, ешь. Вишь, кочевряжится.

— Ничего я не кочер... кочет...

Шурка засмеялся.

Бобка замер с поднятой ложкой. Глаза съехались к носу.

Смех у Шурки застрял, как слишком большой кусок мороженого, — заломило десны, зубы, не вздохнуть.

Коричневый, как капля карамели, обожженный с одного края, мишкин глаз лежал в Бобкиной ложке. Преданно таращился из каши коричневым зрачком.

Две пары живых глаз смотрели на него.

— Она его тогда кинула в окно, точно, — еле выдавил Шурка.

— Точно, — прошелестел Бобка.

— Его Игнат схватил.

— А он — опять здесь. — Брови у Бобки встали домиком. Шурка проглотил ледяной ком.

— Это что-то значит, Шурка, — заволновался Бобка. — Это не может быть просто так. Шурка? Что это значит?

Шурка проглотил ледяной ком.

Бобка осторожно выплеснул глаз на стол. Вытер. Лампа отражалась в нем искрой. Казалось, глаз живой. Бобка погладил его пальцем нежно, как будто глаз мог чувствовать. Лег рядом щекой на стол. Заглянул в янтарный зрачок.

— Мишка, — шепотом позвал. — Мишка, это ты?

— Бобка! — крикнул Шурка. Но тоже шепотом. — Прекрати! Я с тобой свихнусь.

Бобка поднял голову.

— Может, он хочет поговорить?

— Прекрати.

Бобка поглаживал мишкин глаз пальцем, почесывал. Улыбался ему.

— Похоже, мы что-то забыли, Бобка.

— В школе? — поднял тот взгляд.

— В Ленинграде, — выдавил Шурка.

Бобка задумался. Глядел в выпуклый глаз, видел — как уезжали: лицо дяди Яши внизу, бледное от утренней темноты, он подсаживает в кузов, потом чавкающий по льду грузовик, сперва интересно, потом скучно и тряско, хотя все говорят страшно. Потом хлеб. И поезд.

— Что же мы забыли? — Он глядел в коричневую искру так, будто глаз мог ответить.

— Забыли. Не сделали. Не сказали. Не закончили.

Шурка почувствовал, как холод снова расползается по телу.

«Мы, дурачки, радовались, что уехали из Ленинграда, — думал Шурка, глядя на коричневую стеклянную каплю в Бобкиной руке. — Что можно не вспоминать. Снять, отбросить, как шапку. И поэтому теперь он сам к нам идет».

Глава 9

Таню остановил запах.

Он пухлым, теплым рукавом тянулся из открытой в глиняном заборе калитки. Он ей напомнил: «Там будет длинная очередь». Туда всегда стояла очередь — тех, у кого «забрали»: мужа, брата, сына, сестру или дочь. В Ленинграде они стояли с тетей Верой, чтобы передать вещи маме. Стояли, когда искали, в какой детдом отправили Шурку и Бобку. Стояли, когда тетя Вера вызволяла их оттуда. Из того дома, который Шурка долго потом называл «домом Ворона», пока вообще не перестал о нем говорить. «На пустой бак я не выстою», — мрачно подумала Таня.

А запах был такой румяный, с черными подпалинами от каменных боков печки-ямы. Он мог бы ничего ей не говорить. Он все равно был как стена, сквозь которую невозможно пройти. Таня уперлась в нее носом. Дальше нос повел ее в калитку. Ноги при этом сами стали ступать на цыпочках, уши — ловить каждый шорох, а глаза — движение в маленьких окошках.

Лепешки были накрыты полотенцем. Запах теперь был повсюду, он застил глаза, уши, остался один только нос — но и он был полон запаха. Весь мир был им одним — сам круглый и плоский, как лепешка.

Желудок победно загремел оркестром, предвкушая. Таня только приподняла уголок полотенца, как — цап! — коричневые морщинистые пальцы сомкнулись на ее запястье. Звякнули браслеты. И старуха завопила на языке, которого Таня не знала. Милицию зовет. Таня злобно извернулась, попыталась лягнуть. Но чтобы бороться, пришлось бы бросить сумку. Этого Таня не могла. На крыльцо выскочила женщина моложе. И тоже закричала; наверное, тоже «милиция». Таня наклонила лицо и впилась зубами во врага. Старуха вскрикнула, но с неожиданной для ее возраста сноровкой поймала Таню за вторую руку. А молодая схватила за талию.

— Ты чего кусаешься? — неожиданно по-русски спросила она. — А?

Косы ее плясали в такт борьбе.

— Пустите, — шипела Таня.

Старуха потирала укушенную руку и что-то говорила молодой и сильной гадине. Сама тоже пестрая — полоски белые, черные, красные, как ядовитая змея. «Гадины, гадины», — мысленно проклинала Таня. Тот, кто голоден, никогда не поймет того, у кого есть хлеб.

— Ну! Ну! — встряхнула ее молодая и сильная гадина. А гадина старая все лопотала что-то, кивая, показывая пальцем — на сумку, на ботинки-развалюхи, на мятое Танино платье.

Воровка, мол.

— Где мама твоя? А? — пыхтела молодая. — Где?

— На трубе!

Теперь Таня висела в ее железной хватке.

Точно, в милицию тащит.

Старуха все говорила и говорила. Грозится. Из дома пришаркал дед с белой бородой. Молча смотрел, положив обе руки на палку.

«Гад», — вот и все, что могла подумать Таня о нем.

— Ну ты что, ты что, ну? — приговаривала молодая.

Старуха спустилась с крыльца. Протянула укушенную руку. Сейчас щипнет. Таня зажмурилась, оскалилась, чтобы цапнуть еще раз, побольнее. И вдруг рука опустилась ей на темя. Сухая, теплая. Погладила по волосам.

— Ты что? Ты что? — все бормотала по-русски молодая. И Таня вдруг поняла, что она не держала ее, чтобы волоочь в милицию, вопить «воровка», пинать, колотить. Она ее обнимала! А старуха гладила по волосам, старалась показать бешеному Таниному взгляду свое лицо. Показала. И лицо это было добрым, оно улыбалось, оно жалело. Кивала с крыльца белая борода: седые брови и усы образовали ласковое выражение.

— Ну, ну, ну, — прижимала ее к себе молодая. От нее пахло хлебом.

Таня толкнула ее кулаком в мягкий живот. И заплакала. Горько, безутешно, навзрыд.

— Папа и мама по-русски не говорят.

Жон поливала Тане на руки. Вода была теплой: нагрело солнце. Лицо у Тани горело после плача.

— На вот, вытрись. Можешь звать меня Женей.

Таня взяла полотенце.

— А что значит Жон?

— А Таня что значит? — засмеялась Женя-Жон.

— Ничего не значит.

— Идем.

— Я не голодная.

— Просто посидишь, раз не голодная, — не стала спорить Жон.

В доме мебели не было. Только ковры, коврики, половички, одеяла. Каленый день остался за спиной — Таня остановилась на пороге полумрака, на пороге прохлады. Жон сбросила свои туфли без задников.

Таня наклонилась, развязала шнурки. Увидела свои пыльные сероватые пальцы на ногах. Стало стыдно.

— Это что же, вы на людей ловушки ставите?

— На детей, — беззаботно отозвалась Жон. — Папа придумал. Дети — они как воробьи. Захочешь — не поймает. А кто голодный, тот сам придет.

— Вы что, богатенькие? — подозрительно посмотрела Таня.

Жон засмеялась. Заговорила с отцом — будто перекатила во рту речные камешки. Старик заулыбался, закивал, перекатил камешки обратно.

Жон перевела:

— Богатые, говорит. Теперь очень богатые. — Отодвинула занавеску: — Вон оно, наше богатство.

Вокруг расстеленной на полу скатерти сидели дети.

Мелкие, повзрослее, тощие и уже успевшие округлить щеки, голубоглазые, русые, черноглазые, белоголовые — разные. Только один был как полагается — круглолицый, с узкими глазами, длинными ресницами и будто лакированным черным хохолком. Он мог быть внуком. Или внучкой. Но все остальные, совершенно точно, не братья и не сестры. Не сыновья, не дочери, не внуки бородатого старика. Их здесь было не меньше дюжины.

— Жень! Женечка! — загалдели они. — Мама Жень!

Глава 10

— Давай Вовке все расскажем?

— Зачем? — Шурке стало неприятно. Вовка, значит, разберется, поможет, а он нет?

«Я что, ревную? Глупо. У Бобки появляются свои, отдельные друзья. Это хорошо», — постарался убедить он сам себя. И расстроился вконец.

— Ну расскажи, — сухо согласился.

Бобка не ответил.

Вслед им поглядел голубоглазый дом. Прошли, не остановились.

— Нет, — сам себе, но вслух возразил Бобка. — Не будем ему рассказывать. Он посмеется.

Шурка постарался не ответить сразу же.

— Он может. Да.

Небрежный тон тоже удался. Но внутри ликовало: вот-вот, понял, зачем тебе брат? То-то. Брату можно рассказывать все.

— Ты что крутишься? Игнат?

Встретить сумасшедшего в сапожках не хотелось.

Обернулся. За ними трусил черный лохматый пес.

Бобка остановился.

Пес тоже остановился.

Бобка пошел.

Пес потрусил.

Бобка встал.

Пес ткнул в пыль зад в колтунах. Вывалил язык. Мол, я что — все ждут, и я жду.

— От самой школы за нами идет, — сообщил Бобка.

Шурка пожал плечами:

— Ничей. Что ему еще делать?

Бобка посмотрел на Шурку, словно ждал, не скажет ли тот еще чего. Не сказал. Бобка опять уставился на пса. Розовый язык подрагивал в такт собачьему дыханию. Карие глаза-вишенки смотрели не отрываясь.

— Идем.

Пошли.

— Он идет за нами? — подал голос Бобка.

— Да откуда я знаю!

Бобка скосился назад.

— Идет, — прошептал.

— Голодный просто. Мы, наверное, без злобы посмотрели. Сами не заметили. Вот он теперь и ждет: может, угостим.

Прошли мимо палисадника.

— А у тебя ничего нет? — с надеждой заговорил Бобка.

— В смысле?

— Поесть.

Шурка вздохнул:

— Это не та собака. И вообще, собака ни при чем.

Он не добавил: «Бурмистров убежал на фронт». Это было бы как-то чересчур. Хотя после мишки...

Бобка кивнул.

— Это да.

Лицо его прояснилось.

«И правильно, — подумал Шурка. — Выбросил из головы. А то бред какой-то».

Бобка обернулся, сияя:

— Мы не у Вовки — мы лучше у Игната спросим. Раз ему мишкин глаз так нужен, то он знает зачем. Логично?

— Бобка, хватит. Не беси меня.

Собака бежала за ними, кольцом закинув на спину лохматый пыльный хвост.

Бобка шел, думал — и был доволен, что мысли его брат слышать не может. «И он обещал за глаз вернуть Таню».

— Странно, — сказала Жон, выйдя на солнцепек обратно к Тане. — Говорят, нет у них никакой Веры. — Жон заглянула в бумажку, на которой Таня наказывала ей тети-Верины отчество, фамилию, дату рождения.

— Как нет? — перебила Таня. — Уже увезли? Куда?

— Не поступала, говорит.

— Врут. Они всегда врут.

— Это сын Нур, я его знаю. Он не врет.

— Что же делать?

— Подумаем.

— Я домой пойду.

— Нет у тебя дома.

— Много вы знаете. Я с мамой.

— Ты без мамы.

— Это почему?

— С сумкой. Кто ходит с маминой сумкой и без мамы?

— Это сумка тети Веры.

— С сумкой тети Веры и без тети Веры, — охотно поправилась Жон. — И платье.

— А что платье? — одернула подол Таня.

— Видно: девочка сегодня спала в платье. Если девочка спит в том, в чем ходит, у девочки нет дома. И нет мамы.

Вот так Таня и осталась у Жон.

К вечеру все дети уже знали, что она — Таня. А она немедленно забыла и перепутала, кто есть кто. Маша, Витя, Лека, Юра, остальные...

К вечеру дом уже не удивлял ее половиками, ковриками, коврами. Хотя старика и старуху Жон называла папой и мамой, они были не ее родителями. Жон была женой их сына. А сын ушел на войну. Все четверо сыновей. От большой семьи у старика и старухи остались только Жон и ее дочка Ширин. «А потом нас благословил Аллах».

— Бог, что ли? — неприятно удивилась Таня.

Старики, подумала она, еще ладно. Они не умели даже читать и писать. Но Жон! Жон до сих пор казалась нормальной советской — современной и образованной женщиной. И вдруг на тебе: бог.

Бог надоумил старика выкладывать свежееиспеченные лепешки. С того дня в разоренный войной дом пошло богатство. Дети тощие. Дети озлобленные. Дети больные. Дети вшивые. Дети, ночевавшие под кустами. Отставшие от поездов. Эвакуированные. Сбежавшие из детдома. Потерявшиеся. Такие маленькие, что не знали, как их фамилия. Такие большие, что буркали «на фронте папка» и «умерла мамка», только чтобы не заплакать. Отучившиеся плакать.

В доме у старика они все заново учились и есть, и спать под одеялом, и плакать, и смеяться.

«Мы снова богаты!» — радовались старик и старуха. Детей у них теперь было много. Бог был щедр.

— Завтра абрикосы оборвем, мама, — повторила Жон по-русски. Старуха со стариком ушли к себе, а Жон с Ширин — к себе.

Тане приснился гражданин в сапожках. Он бормотал: «я все исправлю», «я честный» и «пуговичку только верните».

Сон был глупый и ни о чем. Но разбудил ее.

Она полежала. Потом выбралась из-под жаркого одеяла. На ней была белая длинная рубашка Жон. Она не спала в том, в чем ходила днем.

Таня вышла из сопящей комнаты во двор. Под босыми ступнями было тепло: земля еще не остыла после солнечного дня. Звезды были крупными,

точно их только что перебрали и помыли. Тополя были вырезаны из черного бархата и наклеены прямо на небо — отчего оно уже казалось не черным, а темно-синим. Выстиранное старухой Танино платье висело привидением. Тихо не было: трещали цикады.

Таня постояла, чувствуя тепло — ступнями, руками, шеей.

Опять показалось, что на нее кто-то смотрит.

Ночью всегда так, успокоила себя она.

Абрикосовое дерево было только одно. Ошибки можно не бояться. Таня подтащила корзину под дерево. Подобрала и заткнула в трусы подол. Попробовала рукой сук. Ухватила. Пусть им будет сюрприз. Проснутся — а обрывать уже ничего не надо. Можно полежать, отдохнуть.

Таня уперлась коленом в ствол. Перехватила рукой другую ветку. У нее закружилась голова. Таня остановилась, перевела дыхание. Полезла. Голову опять неприятно повело. Да, лазать по деревьям в темноте — совсем не то же самое, что днем. Таня наметила крепкий сук. Потянулась к нему. И вдруг рука ее будто начала сжиматься. Таня тянулась к суку — а он уходил все дальше: рука укорачивалась! С ногами тоже творилось что-то странное.

Пальцы больше не держали ветку, и Таня грохнулась на землю. Так сильно, что оглохла. В глазах померкло. Тело заломило. Померкло — и вдруг обозначилось с небывалой остротой. Заломило — и вдруг Таня ощутила силу каждой мышцы. Слух отмечал все: шорохи, шепоты, дуновение.

Черт. Вроде бы ничего не сломала. Она поднялась. Перед глазами плясали серебристые дуги.

Таня моргнула. Дуги не исчезли. Ей стало не по себе. Она пошла в дом. Дуги колыхались в такт шагам. Стало страшновато. Что-то не так. «Мне плохо, — поняла она. — Может, опять тиф. Так бывает. Тетя Вера говорила. Разбужу Жон».

Двор раскинулся перед ней, как площадь. Дом стал огромным, дерево — неохватным. У Тани кружилась голова. Но она упрямо шла к двери — высоченной, как ворота в центре города.

Таня легко запрыгнула на порожек. Дотянуться до дверной ручки нечего было и думать — она маячила высоко над головой. Таня сглотнула. «Со мной что-то очень не так». Ей стало жутко. Но ничего не болело. Наоборот, тело было легким и сильным. «Наверное, у меня жар». Иногда поспишь — и все пройдет. Она легла у двери на теплую землю и тотчас уснула.

Ее что-то мягко, но сильно толкало в бок. Во все тело разом. Таня вскочила.

— Жон! — крикнула она. Огромные ноги колоннами уходили вверх. Но пахли Жон. — Жон, Жоночка, — обрадовалась Таня.

— Иди, иди своей дорогой, — ласково отодвинула Таню нога. Руки поставили поднос со свежими лепешками, накрыли лепешки полотенцем.

Жон посмотрела вниз, улыбнулась. Погладила Таню по голове.

— Иди, иди. Ты такое не ешь. Какая смешная, ласковая. Ты чья-то! Вот и ступай к себе домой. Ступай к своим, киса.

И голод тоже был не таким, как у людей.

Она думала, что тогда, в осажденном Ленинграде, в квартире с мишкой, узнала о голоде все.

Ошибалась. Обычный голод беспокоен и раздражителен: где раздобыть еду? Как? Когда сможешь поесть? Не досталось ли Шурке больше? Съесть сейчас или съесть потом? Съесть все сразу или растянуть по кусочкам?

Но сейчас голодная Таня была так спокойна, что это чувство можно было принять за счастье. Она твердо знала, что поест. А то, что ответы на извечные голодные вопросы «что», «где», «как», «когда» она пока не знала, не нарушало ее покоя.

Сонливой тупости от этого нового голода тоже не было. Наоборот. Таня чувствовала, как упруго и тихо ступают ноги. Как расслаблена каждая мышца — чтобы в нужные полмига собраться и зазвенеть. Как чутко поворачиваются уши. Как широко вливается воздух в легкие. Длинные серебристые дуги оказались ее собственными усами и бровями. Они ловили трепет, похожий на радиоволны.

В тот первый день, в самом начале, Таня так плакала, что уснула. Плакала тоже странно — без слез. Ничего не лилось из глаз, нос не хлюпал, и это напугало ее сильнее всего. Проснувшись в щели под домом, она не сразу вспомнила свою беду. Не сразу поняла, что вокруг уже ночь. Все было видно, как будто она смотрела черно-белый фильм на широком экране кинотеатра. И фильм этот постепенно ее увлек.

Мир был изумителен, и она мчалась, летела сквозь него, сильная и неслышная.

Вот только хвост. В нем Таня еще не разобралась. Просто наблюдала, как он живет своей жизнью у нее над спиной: подрагивает, кивает в разные стороны кончиком или стоит трубой. Ну его, пусть.

Усы дрогнули. Таня замерла. Мышцы тотчас собрались. Уши развернулись своими воронками. И быстрее, чем Таня поняла, что она увидела, тело само нашло ответ. Сжалось, распрямилось, толкнув землю,

выстрелило собой. Все заняло не больше времени, чем полет молнии.

Господи, гадость какая! Таню передернуло.

В ее когтях быламышь.

Мышь сучила лапками и верещала, как маленький поросенок. От нее разило какашками и страхом. Коготки не причиняли Тане ни малейшего вреда.

Мерзость какая. Таня разжала когти.

Но когти почему-то не разжались.

И уже через секунду Таня поняла, чтомышь... С глазками-бусинками, когтями, хвостом, скелетом, кишочками, крошечным сердцем и серой шкуркой... Но мысли не мешали.

Таня ела.

Плача, давясь рвотой, трясясь от жалости к мыши, к себе. От омерзения и горя.

Глава 11

Но зря только оба прислушивались — Шурка с беспокойством, Бобка с надеждой, — не запел ли снова за окном комариный тенорок. Слышно было только, как ахает и булькает в своем ящике Валя маленький.

— Да что это вы? Как сонные мухи, — удивлялась Луша. А Шурка не слышал. И Бобка не понимал, что она ему говорит.

Луша пощупала Бобкин лоб: не горячий, не холодный, а как полагается.

Игнат не пришел за «пуговкой». Ни в тот же день. Ни на завтра. Ни послезавтра.

И Шурка почувствовал облегчение.

Все казалось, что он это понарошку. Что сейчас Вовка отпустит шутку. Но Вовка не шутил. Серьезно отмерял линейкой. Без улыбки чертил карандашом. Насупленно варил на плите клейстер. А когда вырезали из картона детали, от усердия надул губы трубочкой.

Поймал недоумевающий Шуркин взгляд.

— Отдыхаю интеллектуально, — пояснил.

Бобку устраивало все.

— Это какая модель? — спросил он в стомиллионный раз, но по-прежнему с почтением. К сборке его не подпускали. Он не расстроился. Помогал на расстоянии: кряхтел и сопел.

Вовка не ответил. Картонная стеночка уже блестела от клейстера. Насадить ее надо было одним движением. Одним и точным.

— Шурка, давай, — скомандовал. Сам он придерживал корпус с обеих сторон: пять пальцев слева, пять справа. На столе под Вовкиным локтем лежала вырезка из «Правды». Черно-белая фотография нового советского танка была мутной, но как образец для сборки годилась.

На губе у Вовки выступили капельки пота. Он слизнул их.

— Давай.

Момент был решающий. Возились весь вечер.

Шурка прислонил стеночку. Но Вовка пальцы не убрал. Локти торчали буквой Ф — и слева, и справа.

— С дороги! — не выдержал Шурка.

Вовка вздохнул. Повернулся к Бобке.

— Будь другом, сбегай в коридор?

Тот с готовностью спустил ноги на пол.

— Топор. На стенке в коридоре висит, — небрежно объяснил Вовка.

Бобка умчался.

— Хороший клейстер, — заметил Вовка.

— А топор зачем? — не понял Шурка.

Вовка вздохнул. Показал подбородком на обе свои растопыренные пятерни.

— Рубить проклятые.

— Бобка! — прыснул Шурка. — Вернись! Сейчас отмочим пальцы твои, — пообещал он Вовке, — погоди.

Выкатился за братом в коридор.

И чуть не сбил его с ног. Бобка тихо стоял в полумраке. Поглаживал лезвие топора. Вид у Бобки был задумчивый.

— Я все взвесил. Другого выхода нет.

Без улыбки. Видно, у Вовки научился. «Надо же», — не без зависти подумал Шурка. Он вот не всегда понимал, шутит Вовка или нет. Не всегда мог ответить в тон и тоже без улыбки.

Но Шурка ошибся. Бобка не добавил: «Теперь только рубить». Или: «Рубим все десять». Или: «Хрясь». Или что там еще предполагал черный юмор.

Он сказал, тихо изумляясь лезвию топора и собственным словам:

— Неужели я когда-то ссорился с Таней?

И посмотрел на брата.

Закричала из кухни Вовкина мама:

— Есть-то будете, инженеры-конструкторы?

— Давай сами найдем Игната? — зашептал умоляюще Бобка.

— Помогите безрукому, — заклинала комната.

— Чай, сушки, хлеб с вареньем! — зазывала кухня.

— Пошли руки мыть, — сказал Шурка блестящим в темноте Бобкиным глазам.

Бобка еще над умывальником начал радостно приговаривать: «С вареньицем... с вареньицем». Шурка неслышно пихнул его ногой.

Чай в чашках был горячим, как лава. Золотились рыбки, плотно уложенные в консервной коробочке. На розовом срезе тушенки дрожала студенистая слеза. Блестел корочкой хлеб.

Вовка и Шурка болтали. Вовкина мать отвернулась. Бобка сунул сушку в карман.

Но она заметила. Она все замечала. За такими гостями — глаз да глаз. Оборванцы.

— Берите, — подвинула по столу тарелочку с желтым кубиком. «К моему сыну шастают, лишь бы поесть», — презрительно подумала она, но тут же смягчилась. По телу разлилось гордое самодовольство, похожее на тепло: еда в доме водилась. Каждый вечер выныривала из кожаного брюха портфеля, который бросал на пол в коридоре муж. Бросал и шел в сапогах напрямик в комнату. Сапоги, форма все еще удивляли его, все еще лстили. «Неужели нельзя разуться по-человечески?» — вспомнила она. Лицо опять отвердело.

Бобка покосился на кубик. Странное масло, все в дырах — мыши погрызли, что ли? А она гостям теперь скармливает. Вовкина мама ему не понравилась.

— Спасибо. Я сыт, — пробормотал он.

Шурка глянул удивленно, ничего не сказал. Снова заговорила Вовкина мама:

— А где ваш папа воюет?

Бобка принялся разглядывать узор на чашке.

Шуркина ложечка замерла в вазочке с вареньем. Он уставился на Вовкину маму. «Не смотри, не смотри», — приказал себе. Поздно. Глаза ее стали как у рыбок из консервы.

Он мог бы ей ответить: погиб. Никто не станет спрашивать дальше. Но не мог. Значило бы отказаться верить, что папа живой.

— Ты что, не знаешь, где ваш папа воюет? — жестяным голосом удивилась Вовкина мама. — Он пехотинец? Моряк?

У Бобки заалели уши. Вовка глянул разок, заметил, но чашку не отставил.

Шурка мог бы ответить: «моряк», лишь бы отстала. Но не мог. Это значило бы, что он стыдится правды. Папу арестовали еще до войны. «Папу и маму унес Черный Ворон», — так говорил себе Шурка, когда ему было столько, сколько сейчас Бобке. Но не от стыда — просто не знал.

Вовка невозмутимо тянул чай.

— Он летчик? Артиллерист? — все не унималась та. Бобкины уши уже стали как два маковых лепестка.

Вовка степенно отнял край чашки:

— Он помогает родине в тылу, мама. Как наш.

Та дико глянула на сына. Стало ясно, что черный юмор он перенял не от нее.

— Ах, — всплеснула руками, — вода вся выкипит. Я и забыла!

Вскочила. Ушла.

Чайник при этом стоял на столе.

Шурка представил, как их мама сидит за столом и говорит. Могла бы она сказать такое чужим мальчикам? Прежняя мама — нет. А какая она сейчас, он не знал. И вдруг понял: да пусть что хочет говорит! Какая угодно пусть будет. Главное — за столом, с ними. Помнит ли маму Бобка? И тут же заткнул этой мысли рот. Но полезла другая: что, если Бобка и Таню забудет?

Оба, как пришибленные, смотрели на чайник. Вовка — на них:

— Борис, Александр. Вы сегодня как-то особенно шумны и говорливы.

Шурка смотрел на свое отражение в блестящем боку. На выгнутую дулю Бобкиного лица рядом.

А когда Шурка карабкался по холму вверх, пыхтя, толкая и подпирая руками собственные колени, Бобка быстро вынул сушку из кармана. Метнул через плечо. Не глядя.

Он знал, что черная собака трусит где-то там. За ними.

И сушка через мгновение точно — захрупала.

Глава 12

Палисадник уже весь затянуло весенним зеленым дымом. Уже не видны были птичьи гнезда в кронах.

И у палисадника Игната тоже не было.

На траве был иней. Видно, зима попробовала отвоевать прежнее — сунулась под покровом ночи.

— Подождем, — умоляюще предложил Бобка.

Потоптались.

— Идем, — потянул брата за рукав Шурка. — В школу опоздаем.

— Еще минуточку.

Трепал листочки колкий ветерок. Уши начали стыть.

— погоди. Я чувствую. Он вот-вот пройдет мимо. Как только мы уйдем, тут же и появится.

— Может, у школы нас поджидает.

— Логично.

У школы Игната тоже не было.

Не было ни на рынке, ни у холма, ни на дощатом причале. Шурке начало все это надоедать. После уроков домой бы, а не шастать. В животе урчало. Хотелось сразу пить и писать. Но Бобка не сдавался.

Солнце уже нагрело день, но воздух все еще студил. Пальцы у Бобки стали красные, он поджимал их в рукава куртки. Но все равно просил:

— Еще чуть-чуть.

Шурку осенило:

— Мы с тобой дураки.

Как он и ожидал, это «мы» Бобку подкупило. Брат смотрел доверчиво.

— Почему это?

— Рыщем, мерзнем. А ведь Игната знает Луша!

Бобка посмотрел на него с уважением.

— Точно. Она тогда сказала: «Катись, Игнат».

— Вот-вот!

— Если она сказала «катись», — уныло возразил Бобка, — значит, знает с плохой стороны.

— Главное — знает! Чтобы сказать человеку «катись», надо знать, куда или откуда. Где он работает, например.

Бобка оживился. Выпростал пальцы. Жар близкой добычи согрел его.

— Точно. Если мы придем к нему на работу, там люди смотрят. Там он

от нас не отделаётся — все расскажет.

Луша стояла посреди комнаты с охапкой тряпок. Очевидно, неслла стирать да встала. Куда-то пристально смотрела — глаза были как стеклянные. Даже не обернулась, когда они вошли. Шурка посмотрел тоже — ничего. Стена. Комод.

— Луша, — заговорил с порога Бобка, — ты Игнату тогда сказала «катись». Почему?

— Нипочему, — мотнула она головой. — Старухи болтают. Они отсталые. Нечего за ними чушь повторять.

— Какую чушь? — жадно набросился Бобка.

— Мы советские люди. В двадцатом веке живем.

— Он кто?

— Тихо, — осадила Луша.

Шурка понял, что она не смотрела: слушала.

— Слышите? — испуганно прошептала.

И Шурка понял, что она ничего не неслла стирать. В коконе был Валя маленький. Луша отогнула вязаный край, показала маленькое Валино личико. Все трое затаили дыхание.

— Сопит, — сказал Бобка.

— Хрипит, — чуть не плакала Луша.

Вид у Вали был вполне довольный жизнью. Разве что щеки розовее обычного. Но, может, просто от кофт и шалей, в которые он был замотан.

— Простудился немного, — махнул рукой — попробовал успокоить ее Шурка.

— У него воспаление легких! — панически зашептала Луша. — Ночью замерз. Одеяло скинул и замерз. Двустороннее. Я чувствую. С осложнением.

Шурка хотел возразить.

Но Луша несчастным голосом добавила:

— И общим заражением крови.

Шурка вздохнул: спорить было бессмысленно.

— Без паники. Мы в двадцатом веке живем, — напомнил он Луше. — В советской стране. Инфекции и мракобесие давно побеждены. Я за врачом... — Он хотел сказать: «схожу», но увидел Лушино лицо: — Сбегаю!

Луша глянула по-прежнему панически, но уже с благодарностью.

От страха за Вали она напрочь забыла, как важно быть передовым современным человеком.

— Врач-то ладно. Успеется. Ему бы молока горячего, — припоминала

она, что еще делают в таких случаях. — Или жира гусяного, чтобы грудь растереть. И старуху позвать, может? Чтобы пошептала.

При слове «старуха» Бобка поднял голову.

— Я сбегаю!

Луша ходила взад-вперед, покачивая кокон.

— Вдруг сглазил кто? Или порчу навел?

Спящее Валино личико на миг показалось Шурке мертвым. От непонятного слова «порча» тянуло ржавой гадостью. Черт, а если правда заражение крови? Ночью вон как мороз прихватил. Кто там этих мелкашей разберет. Много ли ему надо?

— Начнем с молока, — рассудил Шурка. — С рынка.

— Я сбегаю! — снова Бобка.

— Тебя обдурят, — заметила Луша.

Бобка надулся.

— Сбегаем вместе! — Шурка схватил пустую бутылку, сунул себе за пазуху. — Стрелой! Валя и кашлянуть не успеет, а мы уже обратно.

— Ты что это зачистил? — ответила Прокопыха на его «здравствуйте». — Богатенькие стали?

— Валя заболел. Ему молоко.

— Заболел. Ничо, не помрет.

— Мальчик, — встряла гражданка в локончиках, — ты что, не видишь? Очередь.

Показала себе за спину.

Прокопыха как нарочно возилась — слюнявила пальцы, изучала деньги в коричневой ладони, долго стучала бидоном. Прямо спала на ходу. Или принималась болтать с соседками то с одной стороны (творог), то с другой (масло). Товар у обеих был прикрыт серой рогожей — от весенних мух и всегдашней пыли, которую поднимали шаркающие мимо покупатели, зеваки, прохожие, проходимцы. Стояли треугольниками платки. Все три в своих платках и одежках были похожи на три серые избушки.

Очередь едва ползла. Откуда только набежали?

Шурке хотелось треснуть Прокопыху бутылкой. Он выглядывал из очереди то справа, то слева: скоро уже? Нет, сначала дать пендаля тупому дядьке — под самое жирное пальто. Потом пихнуть вялую, как вареная рыба, гражданку перед ним. А уже потом, добравшись по очереди до Прокопыхи, ее — по кумполу.

Скорее же, приплясывал он. Ткнулся локоть.

— Чего?

Бобка изучал Прокопыху, как будто видел впервые.

— Шурка, — протянул задумчиво, — как ты думаешь, Прокопыха — старуха?

— Уф, Бобка.

Вопрос был взрослый и непростой. Шурка впервые заглянул Прокопыхе под платок. Древесная кора лба, два светлых спиленных сучка-глазка, шишка между ними. Вроде старуха.

Напудренный носик гражданки завис над бидоном. Словно надеялся унюхать там еще что-то, кроме козьего духа. Рука не спешила расстегивать кошелечек. Шурка мысленно подарил Прокопыхе такие же пудренные щечки, красные, как от гуаши, губы, обрамил лоб колечками перманента. Вроде и не старуха.

— Кто ее знает.

Но Бобка со сложностями взрослой жизни знаком не был и сделал вывод, который его больше устраивал. Тон выбрал деловой:

— Товарищи продавцы.

Две избушки поворотились к нему лицами. Прокопыха не спускала с гражданки и кошелечка глаз. Ждала подвоха и не ошиблась.

— Молоко у вас какое-то голубое. Жира в нем немного.

Бобка не выдержал:

— Скажите, где Игнат? — выпалил он. — Очень нужен!

— Зачем? — сурово спросила одна.

— Он нам сказал сюда к нему прийти, — бросился на помощь брату Шурка. — Мы пришли. А его нет.

— Игнат-то? — подозрительно отозвалась другая.

— Какое же голубое? Вон пенка в палец толщиной. Во! — пела Прокопыха. Напрасно. Изучать ее палец гражданка не стала. Кошелечек канул в сумку.

— Кошка облезлая, — прошипела Прокопыха вслед.

А первая избушка заметила:

— Был Игнат, да весь вышел.

— Долетался желтоглазый, — подтвердила вторая.

— Повезло вам, считай. Что не пришел.

У обеих даже заострились носы. Им не терпелось рассказать. И было что. Но все три старались не подавать вида. Прокопыха сплюнула. Покупатели вдруг как провалились. Так всегда — то очередь, то никого.

— Игнат-то — гражданин известный, — словно нехотя потянула она.

— Кто с Игнатом хороводился, того потом никто не видал.

— Как это? — Бобка переводил взгляд с одной на другую.

- Был человек, и нету.
- Исчезли.
- Вроде того.
- Куда?
- Понятно, — процедила масляная.

Шурка перестал ощущать в ладони гладкую бутылкину шею. Бурмистров — исчез. Бутылка в руке стала ледяной. Но он тут же поправил себя: не исчез. На фронт сбежал.

— Что ты мелешь? — накинулась на нее соседка с творогом. — Все не так. Не слушайте ее, дети. Треплется она. А дело в том, что Игнат людей превращал в зверей.

- Ну вы тоже это, — заметил Шурка. Имел в виду: не заливайте.
- Люди говорят, — уточнила она. — Зря такое не скажут.

Бобка глядел во все глаза. То на одну, то на другую, то на третью. Будто следил за пасами на футбольном матче.

- Ну да, — цыкнула та, что с творогом.

Прокопыха тоже закивала:

— Точно-точно. Ага. Вот Марковна. Которая с яйцами здесь стояла. Все скулила. Хлопнуться бы, грила, об землю, да превратиться бы в кошку, да пересидеть это все на печке. Советскую власть, значит, пересидеть. А как она это перед Игнатом расписала, так, значит, и все. С тех пор ее не видели.

Две другие покивали.

- Сидит теперь Марковна, видать.
- На печи.
- Мурлычет.

— Вот-вот. Он так многих, — поправила рогожку на своем твороге та, что вначале отнекивалась. — Вот-вот, — кивала теперь и она. — Кого в кошку. Кого, может, в собаку. Или в птицу какую. А потом и сам. Тю-тю.

- Доколдовался.
- Свистите, — все же сказал и Бобка.
- Понятно где.

Творожная бабка перевела:

- Арестовали соколика.
- Поделом.

И избушки опять встали к Бобке задом: торчали только серые крыши-платки.

Прокопыха взяла бутылку из забывшейся Шуркиной руки:

- Туда ему и дорога.

Сплюнула.

— Нарочно Вальке вашему с пенкой налью. Пусть та гадина удавится. Да не пихай ты мне деньги эти, — оттолкнула она мятые Лушины рублишки. — Миллионщик, что ли? Пихает тут. Молоко ей голубое. Морда у тебя самой голубая от пудрищи. Одно место у тебя голубое. Мозги у тебя голубые. Жира ей мало. В мозгах у тебя зато жира много.

И долго еще она не могла успокоиться.

Глава 13

Когда пришли, у комода уже сидел боком врач. Нога на ногу. Руки замком на коленке. Из-под задравшейся штанины высовывался гармошкой носок. Ботинок усмехался: ему пора было к сапожнику. Усмехался и кивал в такт своему хозяину.

— Ах ты хороший, — курлыкал тот, заглядывая в ящик: — Ку-ку. Ку-ку. Ну что, кричим? Не кричим?

Бобка тотчас шмыгнул на лавку — наблюдательный пост.

— Кричим, — испуганно отозвалась Луша. И только тогда Шурка заметил ее: руки на груди, она почти слилась с печкой.

— Что ж, осмотрим. Руки бы вымыть, — обернулся врач. Поддернул рукава.

— Сюда, — показала Луша. Вынула и развернула чистое полотенце.

Но умывальник ответил докторским рукам горловым звуком. Луша посмотрела тупо и беспомощно на его сухой латунный хоботок. Полотенце напоминало белый флаг.

— Сейчас! — крикнул Бобка, протискиваясь между лавкой и столом. Загремел ведром.

Врач опять наклонился над ящиком.

— Агу. Агу. Агу, — давал позывные он. — Агу. Агу. Температура была?

— Была. Какая-то, — пролепетала Луша. — Должна быть. Не холодный же совсем.

Врач чуть сдвинул брови — показал неодобрение:

— «Какая-то». Вы молодой современный человек. Комсомолка, небось. А в доме даже градусника нет. Агу. Агу.

«Ишь, Валя, — подумал Шурка. — То орет чуть что. А тут молчит».

Было скучно и тревожно одновременно.

Шурка опустил на лавку, еще теплую от Бобкиного зада. Подпрыгнул. Что-то ужалило его. Твердый... камешек? Нет. Мишкин глаз. То ли выскользнул из Бобкиного кармана. То ли Бобка его забыл, сорвавшись за водой.

Шурка сгреб его ладонью. Покатал в пальцах.

— Агу? Агу? — куковал врач. Показывал Вале два пальца козой. Шевелил ими. — Спим? Не спим?

Надо Бобке кинуть. Шурка подъехал по лавке к окну. Приоткрыл.

Хотел крикнуть: «Погоди — глаз!» Или: «Бобка». Докторская телега загораживала обзор.

Из рваного, штопаного хомута торчала солома. Конек с раздутыми боками потряхивал челкой, пожевывал длинными губами. Подергивал светлой неопратно-пятнистой шкурой. Кляча, прямо скажем. Сытых и сильных давно взяли на нужды фронта.

Да Бобка, наверное, уже удрал.

— Агу, — куковало за спиной. — Агу.

Шурка поднес мишкин глаз к своему веку. Ворохнулись ресницы. Телега стала медной. Небо — карамельным. Конек из серого — медовым.

Восемь ног подпирали брюхо.

Шурка вздрогнул, отнял глаз. Серый коняга, четыре ноги. Ноги как ноги. Шишки-коленки. Бородки у сбитых, стоптанных копыт.

Приставил глаз. Рыжий. Восемь.

Шурке стало жарко. Отдернул мишкин глаз — коняга переминался на четырех ногах. Жевал длинными губами, потряхивал облезлой репицей.

Шурка глянул через глаз на свою руку. Пальцев было пять.

Лоб пылал.

«Я заразился. От Вали», — понял он. Так бывает. Жар сразу стал уютным: не надо думать, не надо никуда бежать. Хорошо, что врач уже здесь. И мягко свалился обратно в избу, на лавку.

Бобка пер ведро, подталкивая ногой. Вода ходила ходуном. Бобка предусмотрительно набрал только половину. Чтобы не расплескать. Дужка резала ладони.

Последний привал у самой калитки. Чтобы одолеть крыльцо. И в дом.

Телега стояла, загораживая путь. Бобка поставил ведро у колеса. Кругло отразилось опрокинутое небо. Походило волнами. Унялось.

Бобка вытер взмокшую шею рукавом.

Докторский конь стоял, поджав одно копыто. Обмахивал себя облезлым хвостом. Карие глаза глядели из-под длинных ресниц терпеливо и в никуда.

«Тоже умаялся, — понял Бобка. — Суну ему быстренько поесть чего-нибудь, — пожалел он коня. — И побегу».

Наверняка в телеге что-нибудь есть. Клок сена или даже сухарь.

— Эх ты, карета скорой помощи, — сказал вслух коню. Подумал с удовольствием: «Надо будет Вовке вернуть: карета скорой помощи — о телеге». Телега у доктора была грязная, старая. Бобка отогнул край рогожки.

Они валялись на дне.

Зеленые, розовые, красные, оранжевые, в яблочках, листках и розах, вышитые, нарядные.

Те самые. И это было ужаснее всего.

Игната в этих сапожках не было.

— А днем спит? Как часто? Подолгу? Когда просыпается? — донимал Лушу врач, убрав немытые руки в карманы.

Шурка посмотрел сквозь глаз на собственную руку. Пальцев было все так же пять. Но по спине как сосулькой водили. Все то. И что-то не то.

— Да спит, — растерянно лепетала она. — Не может же не спать.

Шурка посмотрел на печку. Та окрасилась в оранжевый, солнечный. Но весело не стало.

— Это только говорят: спит как младенец, — болтал врач, упиваясь собственным голосом.

«Противный какой, — подумал Шурка. — Как таких к больным пускают?»

— Спать как младенец? Боже упаси! Кричат, ворочаются, стонут, ахают, елозят, мечутся, пищат. Вот когда младенец спит тихо, тогда пора забеспокоиться. Он во сне вскрикивает?

— Вроде, — промямлила Луша.

— Булькает? Ахает?

Луша оглянулась на Шурку. Мол, ну и врач, говорила же, старуху зовите — шептать.

— Булькает, — подтвердила. — И ахает.

Доктор оживился:

— Стонет? Пыхтит?

Шурка посмотрел через глаз на противного врача.

И сосулька вонзилась ему под сердце. В ледяной камень превратился желудок. Комната прыгнула у Шурки перед глазами. Ему показалось, что стены дохнули ленинградским морозом, а сам он сделался из одного куска дерева со скамейкой, на которой сидел.

Тот, кого Бобка называл Королем игрушек, а Таня ошибочно считала смертью, стоял перед Лушей, наклонял к Вале маленькому поля серой шляпы.

«Надо крикнуть. Надо крикнуть. Надо крикнуть», — бежала мысль на одном месте, как хомячок в колесе.

Ввалился Бобка. Без ведра.

— С-с-с, — заикаясь, высвистывал он. Лицо его было одного цвета с полотенцем, которое держала Луша. Вернее, уронила. Всплеснула руками:

— Собака? Я же тебе говорила: не прикармливай собак бродячих!

— С-с-с...

— Соседская? Ну я им!..

Поймала его, обхватила. Но Бобка только трясся мелкой дрожью — Лушины руки никак не могли ее унять.

— С-с-с!

— Укусила? Где? — побледнела и Луша.

— С-с-с.

Он хотел сказать: «сапожки Игната».

— С-с-с, — насмешливо передразнил врач.

Луша выпучилась на него. Гнев начал заливать ее багровой краской.

Шурка так и сидел, как замер. «Надо... Надо». Мишкин глаз в кулаке. Но что надо — никак не мог додумать до конца.

Луша стала такая красная, что с лица пропали веснушки.

— Вы что это безобразничаете? Как вам не стыдно! — напустилась она на врача, прижимая к себе Бобку.

— Пех-пех-пех, — торопливо завел мотор Валя маленький.

Нахальный врач вынул из кармана кисет. Сыпанул на ладонь табачок.

— Как ваша фамилия? Ну-ка? Из какой вы больницы? Я в больницу вашу!.. — грозно возмутилась Луша. — Я...

Но что она собиралась сделать, осталось при ней. Врач дунул ей свой табачок в лицо. И Луша замерла с открытым ртом.

Бобка дернулся. И заорал. Забился в сведенных Лушиных руках. Но та была тверда, глуха и нема.

Захныкал в ящике Валя маленький.

— Шурка, Шурка, — подвывал Бобка.

— Вы, никак, Игната ищете? — обернулся к нему никакой не врач.

Бобка икнул и умолк. Валю маленького прорвало: «А-а-ау, а-а-а-ау, а-ау». Но Луша стояла посреди комнаты, как береза.

— Так вот же он.

Он распахнул занавеску. Коняга тоскливо глянул на окно. Махнул облезлым хвостом, как бы говоря: «Эх-эх».

— Сбежать от меня думал, дурак. Молчишь теперь? — обратился он к коняге. Тот в ответ только пожевал длинными замшевыми губами, тряхнул ушами. — Нечего сказать? Вот и молчи теперь. — Фух, — снова обратился он в комнату. — Наконец я вас нашел.

Глава 14

Врач глядел на коня, ворчал:

— Думал, пару трюков у меня подсмотрел — и сам с усами теперь. Бог весть сколько людей в зверей этот болван переметал, пока я его не нашел. А все из жалости! Дурак. В мире должен быть порядок. Сделал — получи. И жалеть их нечего. Лучше бы ты этому у меня научился! Болван.

И задернул занавеску.

Поморщился:

— Фу, как он орет. Уши закладывает.

Валя маленький визжал и визжал. Никто к нему не шел. Бобка прижимался к неживой Луше — обхватил, как будто она все еще могла его защитить. И только икал.

Визг Вали пробивался к Шурке сквозь тяжелое желе вокруг. «Кричит, — тупо ворочалась мысль. — Что же мама не идет? А Таня?» Шурке казалось, что Бобка и там, и там. Один — большой, как есть, и одновременно другой. Такой, каким был давно, когда мама, когда папа, когда Таня, когда в Ленинграде они были все.

— Бобка, — шептал он визгу младенца, но губы не шевелились.

Воздух был как смола — вязкий, густой. Застывающий. Шурка с лавки вставал, вставал, вставал, будто пробивая головой липкую толщу.

— Иду! — крикнул он. Но из груди вырвался только пузырек воздуха.

Врач подвинул стул. Сел. Притянул к себе Лушину кружку с чаем. Макнул губы.

— Тьфу, — скривился. — Ни в одном доме не получишь самого обычного чаю.

Заглянул:

— Что это у нее тут? Малиновый лист? Ладно.

Стал цедить, стараясь не обжечься.

Шурка поднял свинцовую ногу. Передвинул вперед. «Давай, — приказал другой ноге. — Пошла. Ну!»

— Напрасно, — заметил на это Серый между глотками. — Способность бояться человеку нужна. Для самосохранения.

Шурка волок ступни как два чугунных утюга. Наклонял тело. Выдирал руки. Одну, другую, снова первую, снова вторую. С каждым шагом казалось, что смола схватит руку, ногу и больше не отпустит. Серый наблюдал. Хмыкал. Покачал головой. Сказал: «Ай-ай-ай».

«Пошла. Пошла. Пошла», — командовал то руке, то ноге Шурка.

Наконец дошел до комода.

Руки вниз тянулись долго-долго, как сквозь застывающее стекло. Нащупали тельце. Оно было теплым, потянул вверх — нет, тяжелое, как железный шкаф. «Ничего», — приказал себе Шурка. Сначала правой руке. Потом левой. «Ну!» Вдруг вспомнился кровавый человек на школьном плакате: куст в красных и синих веточках. Шурке показалось, что внутри у него полопались все жилы. Все учтенное плакатом кровеносное хозяйство: сосуды, вены, артерии, капилляры, кровяные шарики.

— Эк тебя тогда приморозило. Больше ничего не страшно, ничего не удивляет. Неинтересно с тобой. Скучный ты. Ладно. Как хочешь, — недовольно раздалось за спиной, и младенец вдруг легонько взмыл к Шуркиной груди. Руки прижали его. Жидкое стекло снова стало воздухом.

— Но ты учти, — пробормотал Серый с чашкой у рта. — Это я добренький. А люди могут тебя не понять. Доиграешься.

Шурка прижимал Валю маленького к груди. Луша торчала посреди избы. Внутри ее сведенных рук моргал и икал Бобка. От Вали по телу расплзалось тепло. Сердце бухало. Было страшно.

А Серый трепался — наставлял:

— Бояться надо. Это не стыдно. Это правильно. Всего боишься — дольше живешь.

Подумал немного, добавил:

— Неинтересно. Но долго.

Громко икал Бобка. Так, что больно стучался плечами о деревянные Лушины ободья.

— Ладно, — пробормотал Серый. Перевернул чашку, убедился, что вытянул из нее все до капли. Потряс даже. Стукнул на стол.

Грохнул стулом — передвинул так, чтобы видеть обоих — Шурку, Бобку.

— К делу. Игнат — дурак. Но что с него возьмешь: лошадь. Дело, значит, такое. Вы мне — глаз. Он все равно мой, — быстро поправился он. — А я вам, если просите, так и быть — Таню.

Протянул руку и пощекотал Валю маленького по щечке.

— Правда? Вот он не даст соврать.

Бобка опять икнул.

Тот поморщился:

— Фу. Невозможно уже. Прямо подскакиваю каждый раз. Ну попей воды, что ли?

— Поч-чему? — выдавил Бобка.

— Помогает от икоты, — быстро отозвался тот. Изобразил, что спохватился: — Ах, ты не об этом — почему.

Сунул пальцем в сторону Вали маленького:

— А о том? Почему — то?

Пожал плечами:

— Потому что я Ловец снов.

Заложил ногу за ногу, руки замком. Ждал. дождался.

«Он не так себя называл в Ленинграде», — мелькнула у Шурки мелкой рыбешкой мысль. Слишком близко к поверхности: Ловец снов заметил ее, подцепил.

— А ты что, всего-навсего Шурка? — обернулся к нему всем телом. — Даже люди, возьмем любого человека: он и сын, и брат, и мерзавец, и шутник, и обжора, и советский пионер, и все это одновременно. Или вот Шурка, — вдохновенно озарилось его лицо. — Шурка, Саша, Сандро, Алекс — и все это, заметьте, один и тот же Александр. Более того, он же Шуренок, Шуртей, Шурик. И Санька — тоже он.

— Теперь я вас окончательно узнал, — перебил Шурка.

— Врете, — пискнул из Лушиных объятий Бобка.

— Не вру, — изобразил обиду Серый.

Глава 15

В Сталинграде Игната все это время знали как Макара. В Москве — как Петра Николаевича. В Бухаре — как Шухрата. В Рыбинске — как товарища Волкова. В Севастополе он был Лукой Ивановичем. В Вильнюсе — Борухом Моисеевичем. В Минске...

Но Бобка не сдавался:

— Нет, они на рынке так сказали: Игнат здесь давно жил. До того, как мы приехали.

Ловец снов закатил глаза.

— А вас послушать, — продолжал Бобка, — так он жил и в Сталинграде, и в Москве, и здесь, и по всему Советскому Союзу.

— Ну да, — радостно подтвердил Ловец снов.

— Одновременно? — Тесные Лушины оковы уже не мешали Бобке выглядывать оттуда с видом специалиста по черному юмору.

— Ну да! — крикнул Ловец снов уже в полном восторге.

— Одновременно здесь, в Москве, на Сахалине, и в Брянске, и по всему СССР?

Они так еще долго могли препираться.

— Бобка, — вынужден был встать на сторону врага Шурка. — Я, кажется, понял. Мы думаем, что время идет. А оно стоит. Это мы — идем. Поэтому Игнат был сразу везде.

— Ну да, — повторил Ловец снов. На этот раз с облегчением. И промокнул лоб платком: — Фух. Никогда не торгуйтесь с детьми. Это ужасно изматывает.

Шурка хотел на него прикрикнуть: «Вот и не торгуйтесь!» Но толку?

Сделка должна была совершиться. И сделка — честная. Безупречная. При полном удовлетворении сторон.

Иначе принципиальный глаз снова удерет от нового хозяина и вернется к ним. А Шурка уже не был уверен, так ли это хорошо.

— Ну думайте. — Врач смотал резиновый шнур стетоскопа, уложил. Щелкнул замочками портфеля. — Думайте. Только не сильно задумывайтесь. А то пока вы думаете, Таня там... Бедная Танечка. Ладно, я пошел. Меня больные ждут. Чао-какао.

И схватил портфель.

За окном чмокнуло. Хлопнуло. Скрипнуло. Затарахтела телега, застучал копытами Игнат.

Луша вздрогнула. Задышала. Озадаченно посмотрела на Бобку в своих руках. Недоумевая: что он здесь делает? Зачем его обхватила? Сообразила. Поцеловала. Погладила. Выпустила.

— Ты Валю-то положи, — бросила на бегу Шурке. — Не таскай. Руки отвалиются. Вон он зевает уже.

Она была как ни в чем не бывало. Точно не было здесь никакого врача.

«Ничего не видела. Не слышала. Не помнит», — понял Шурка.

Подхватила полупустое ведро. И понесла его к печи.

Слышно было, как Луша там брякает, клякает, стучает — хлопочет.

— Ты думаешь, это правда? — только и спросил Бобка.

Шурка опускал Валю маленького обратно в ящик.

— Думаешь, он нам правду сказал? Насчет зверей и остального?

Валя маленький лег и сразу обмяк, будто только того и ждал. Изобразил букву Н: согнутые руки вверх, согнутые ноги вниз.

— Страна Младенческих снов, — перешел на шепот Бобка, — думаешь, тоже правда?

Шурка поправил одеяльце.

— Нет. Он всегда врет.

Валя большой смотрел из рамки строго. Личико Вали маленького лежало в профиль. Смешные палочки закрытых глаз. Розовые щеки. Тень от ресниц. Оно казалось сделанным из самого тонкого фарфора. «Неправда», — с облегчением подумал Шурка.

Вдруг голова Вали рывком мотнулась на другую сторону. Над глазами собрались розовые бугорки.

Шурка замер.

— Гляди, — прошептал за его плечом Бобка. — Началось.

— Вот еще, — сказал Шурка, но вышло шершаво, неуверенно. — Чушь.

Оба во все глаза смотрели на Валю.

Он засучил ножками.

— Идет, — определил Бобка.

— Ерунда. Просто ногами дрыгает.

— Ты ногами так во сне дрыгаешь?

Шурка не нашелся. Спали они на печи рядышком.

— И я не дрыгаю, — веско заметил Бобка.

Бобка не сводил с Вали глаз. Оба не сводили. Шурка попробовал отмахнуться:

— Он младенец. Они такие. Вот и все.

— Вот именно. Он младенец.

Валя между тем уже работал и ногами, и руками.

— Как ты думаешь, он лезет на дерево?

Шурка молчал. «По лестнице, — подумал он. — Вверх по лестнице с высокими ступенями. Слишком высокими для маленького».

— Или ползет? — шепотом размышлял Бобка, разглядывая Валю.

Голова Вали опять стала дергаться то вправо, то влево.

— Осматривается, — переводил Бобка.

Валя, видимо, выбрал направление. Потому что ноги снова засучили.

Оба ждали, затаив дыхание.

Валя задвигал руками, как бы отводил от лица невидимую паутину. Он слегка постанывал.

Шурке стало не по себе.

— Его надо разбудить.

— Ты что! — схватил его за рукав Бобка.

Шурка и сам понимал, что будить нельзя. Но и помочь Вале нельзя было тоже — невозможно. Сердце его сжималось от жалости. Там, где сейчас находился Валя, хорошо не было: над глазами собрались безбровые бугорки, рот скривился. Валя начал слегка подвывать. Ему явно хотелось зареветь. Но паутина кончилась.

Теперь Валя плыл. Сначала он помогал себе гребками. А потом просто дал течению нести себя. Лицо его умиротворенно разгладилось.

— Думаешь, это та же самая река? — задумчиво спросил Бобка.

— Какая река?

— Которую я тогда переплыл в лодке?

— Бобка!

— Что?

— Хватит. Нам тогда все мерещилось. От голода, холода и потому что мы были одни в квартире. Вот и мерещилось. Мишки бегали, улицы двигались. А просто-напросто кружилась голова.

— Не мишки, а мишка, — серьезно поправил Бобка.

Валя, похоже, снова выбрался на твердую землю. Двигал ногами и вертел головой. Остановился. Застонал. Поднял ладонь с растопыренными треугольными пальчиками. Принялся месить собственное лицо, будто силился снять его, как чужое. Как резиновую маску.

«Или противогаз?» — мелькнула у Шурки безумная мысль.

И стонал.

— Что же он видит? — испуганно шептал Бобка. — Что это?

Валя оттягивал пятерней кожу на щеках, тянул то губу, то нос и мотал головой. Но прошел и это.

Он опять стоял и осматривался.

— Ищет, — объявил Бобка.

Валя шел, крутил головой. Изредка помогал себе руками. Отодвигая ветки, переворачивая камни.

— Что?

— Не что, а кого.

Валя шарил и вздыхал. Бобка молча глядел. Вдруг лицо его осветилось:

— Вранье.

Валя вздыхал.

— Какает он сейчас. Вот и кряхтит.

Шурка не успел возразить.

— Ты сам слышал, — пояснил Бобка, — Луша письмо читала. Валя большой написал. Жив, немного ранен, в госпитале.

Валя засопел. С шумом втягивал воздух. Нижняя губа выдвинулась балкончиком. Закрытые глаза стали похожи на две фасолинки. Покраснели. Рот открылся. И Валя закричал. Так, что Шурка и Бобка отпрянули от ящика. Тоненько и страшно:

— И-и-и.

В стране Младенческих снов он искал своего папу.

Шурка сунул руки в ящик, вынул Валю. Голова младенца легла ему ровно в локоть. Фасолины разгладились, балкончик задвинулся, руки обмякли.

— Хорошо тебе, парень? Угрелся? — шепотом спросил его Шурка. Но глаза не раскрылись. Валя мелко закивал. Мягко стучался лбом Шурке в свитер. Ротик чмокал. А руки начали водить по свитеру, грести. Глаза опять порозовели: Валя начал злиться. Кивать чаще. Чмокать громче. Грести сердитее. «Он сию ищет, — понял Шурка. — На мне!» Стало стыдно и немного противно. «Да ну тебя, Валька. Дурак. Гадость какая». Он понес его к комоду. А Валя все тыкался, стучал лобиком Шурке в грудь, греб все нетерпеливее. И был такой теплый. Такой глупый.

На душе у Шурки стало совсем худо. Бобка, напротив, повеселел.

— Теперь я и сам вижу: все он нам наврал. Лишь бы глаз выдурить. А письмо — это факт, — рассуждал Бобка за его спиной. — Написал ведь Валя большой? Написал. В госпитале он. Жив. Даже ранен только чуть-чуть. Уже и поправился небось. А тот — врет. В Ленинграде врал. И опять врет. Теперь я убедился.

У Шурки защипало в носу. Валино лицо расплылось в мокрое розовое пятно.

Глава 16

— А тебе чего?

Шурка тянул руку.

— В туалет.

— Иди.

Шурка вышел из класса. Прошел по гулкому коридору. Сквозь едкий пахучий рукав, тянувшийся из всегда открытой двери туалета. Ее не закрывали никогда. Двери в самом туалете тоже давно были сняты. Чтобы не собирались курить старшеклассники.

На цыпочках мимо учительской, в которой всегда виднелись склоненные головы: у кого не было урока, сидели проверяли домашние задания.

Вышел через черный ход.

И побежал.

Больницу он нашел быстро. «Каменная», — сказал Ловец снов. Каменных домов в Репейске было немного.

Шурка постоял под окнами. Послонулся у стен. Поднялся на крыльцо. Постоял. Даже заглянул внутрь. Увидел пол в черно-белых шашечках. За перегородкой с круглым окошечком подняла колпак медсестра, показала лицо. Шурка юркнул прочь.

Ну его, теперь был уверен он. Рука в кармане играла глазом: крутила между пальцами. Может, закопать?

Остановился.

Повертел головой.

Только у военных почему-то всегда есть часы. У военных и гражданок в пальто с мехом. Но весна уже нагрела Репейск так, что пальто с мехом будто растаяли. Гражданки теперь все выглядели одинаково — непонятно.

Наконец блеснули сапоги. Бежали, как на пожар. Шурка бросился:

— Товарищ, который час?

Военный посмотрел на него полоумно.

— Вертитесь тут. Под ногами! Сопляки! — вдруг разозлился он. Будто Шурка попросил прикурить.

И погрохотал сапогами дальше.

Ладно, закопать успеется. Потом.

И потрусил в сторону школы. После уроков следовало, как условились, забрать Бобку.

Шурка подождал еще немного. Уже пробежали мимо все дети — они бежали так, словно их могли догнать и вернуть на дополнительную порцию уроков. Теперь прохожие были только взрослыми. Шурке стало не по себе.

Застрял он там, что ли? Что, если Каткина свита изловила Бобку? Он похолодел.

Школьная дверь была еще не заперта. Пустой коридор казался оглушительно тихим и непривычно широким. Нянечка Люся возила по лестнице мокрой серой тряпкой: зад, обтянутый холщовым халатом, ходил туда-сюда.

Ее называли «нянечка», потому что она сама всех так называла: «Шурочка», «Бобочка», а когда не знала имени (много появлялось новых, эвакуированных), то говорила: «деточка». Даже Бурмистров говорил ей «нянечка».

— Вы Бобку не видели?

Зад остановился. Лицо повернулось сердитое. Морщины на лбу не разгладились.

— Мальчика, — пояснил Шурка. — Мелкаша. Моего брата.

Люся плюхнула тряпку в железное ведро, устроила небольшую бурю, так что плюхнуло через края.

— Какой еще мальчик. Домой иди. Шастаете все где попало. Нейметесь вам все. Дома все не сидится. Тряпкой бы вас вот этой, — тряхнула она красными кулаками, которые крутили жгут из серой тряпки. — Чтоб не шастали.

Отвернулась. Показала железный зад.

Не «Шурочка» и не «Бобочка». Сердце ухнуло. Подозрение переросло в уверенность.

«Не дергайся. Думай», — велел себе Шурка. Лупить на улице среди бела дня они не отважатся: там вмешаются, разнимут прохожие. Пустырь!

Шурка пролез в дырку в заборе. Выпрямился. Пустырь оправдывал свое название. Только трава чуть кивала самой себе хохлатыми головками. Только лопухи молча топорщили уши. Поэтому шорох Шурка расслышал мгновенно. Обернулся. Быстро наклонился, схватил — и камень гулко ударил в забор. От щелей отпрянули.

Заверещали восторженно:

— Людоед! Людоед из Ленинграда!

Затопотали, захохотали убегающие ноги.

Мелкаши.

А потом услышал похрюкивание. Раздвинул лопухи.

Верочка сидела на земле, подтянув колени. Лицо от слез стало совсем кроличьим: розовый нос, розовые глаза. «Поколотили они ее, что ли?» — удивился Шурка. Верочку не любили. Но и не задирали.

Сочувственно сел рядом. Четыре холма колен. Верочка хлюпала и старательно не смотрела на него. Поколотили.

— Болит? — спросил.

Верочка выпрямилась так стремительно, что стукнула его затылком по подбородку — зубы клацнули.

— Врете вы все. Все они врут. На фронт он сбежал. Понятно?

«Она что это, опять насчет Бурмистрова?» — неприятно удивился Шурка.

— Ну сбежал, — пробормотал он.

Ладно уж. Сколько можно?

— Я знаю! На фронт. Понял?

Вскочила. Отряхнула платице. И убежала, только лопухи шушукнулись. Трава все еще качала головами, мол, ну и ну.

«Девчонки, — только и подумал Шурка сердито. Поди их пойми».

В палисаднике Бобки тоже не было.

А на рынке Шурке рассказали.

Немецкие трофейные снаряды, которые привезли на эвакуированный столичный завод, где директором был Вовкин папа в своих новеньких сапожках, лежали в ящиках. Прямо в заводском дворе их отгрузили. Думали, наши военные из них вынули взрыватели.

А наши военные — что вынут на заводе.

Убило Вовку мгновенно.

Глава 17

Улицы, переулки, дома с кружевными ставнями и деревянными диадемами на лбу пролетели мимо, как будто их стряхнули. Лушин дом коряво выбежал навстречу. Дверь отпрянула.

— А, это ты, — безразлично сказал Бобка. И снова занялся тараканом на столе: преградит ему путь линейкой, отпустит, снова преградит уже с другой стороны.

— Бобка, ты... — Шурка не знал что.

Над ящиком комода то взбрыкивали, то снова пропадали красноватые ножки Вали маленького. И ни звука. Валя маленький как будто предлагал с ним поиграть, зная наперед, что никого не заинтересует.

— Ты где был?

— Нигде, — пожал плечами Бобка. — Домой пошел.

А голову не поднял. Как будто разговаривал с тараканом.

— Домой? Я...

— Знаешь, Шурка. Ты меня после школы больше не жди. Я сам.

Шурке стало тошно. Бобка здесь, Бобка цел и невредим. Не плачет. А на душе — тошно. Лучше бы плакал. А когда молчит — как быть?

— Сам так сам, — согласился Шурка.

«Завтра по дороге в школу поговорим».

Подошел к комоду. Наклонился над ящиком. Валя маленький распахнул глаза. Они стали как две круглые голубые пуговицы. Изучали Шуркино лицо.

«Я кажусь ему очень большим. Лицо на полнеба», — подумал Шурка. Но веселее не стало.

Валя вскрикнул, ахнул, заулыбался, замахал кулачками.

«И чего Луша так мало берет его на руки?» — подумал Шурка. С удивлением понял: а ведь правда, он почти не видел Валу маленького у нее на руках. В руках этих постоянно были то дрова, то топор, то ухват, то полотенце, то веник. А если ничего не было, то руки лежали вдоль спящей Луши как каменные, и казалось, что больше она уже не проснется.

«Как просто было раньше», — с болью подумал он. Бобку можно было обнять, поцеловать, погладить. И все было понятно.

— Бобка, ты что, мои штаны надеть решил?

Бобка вздрогнул. Положил штаны на лавку. Загнул штанины.

— Просто. Складываю.

Сам уже был одет. За столом ерзал. Глотал торопливо. Сорвался с места.

— Бобка, да не суетись ты. На пожар несешься, что ли? — не вытерпел Шурка. Он еще тянул из теплой кружки, в которой плавали листки малины, а Бобка уже завязывал шнурки.

— Сколько можно копаться, — бормотал. — Невозможно так.

— Времени вагон, — заметил Шурка.

— Кому вагон, а кому и маленькая тележка, — донеслось от двери.

— Я почти допил.

— У тебя в кружке еще чая полно! — подскочил он.

— Глянь, Бобка, жук, — показал на столе Шурка. Чтобы отвлечь.

Бобка с досадой смахнул рукавом. Жук невесомо ударился об пол. Бобка топнул ногой, сочно хрустнуло, Бобка потер подошвой об пол — и только тогда его нагнало Шуркино изумление.

— Бобка, ты что?

Шурка глядел и не узнавал. Худенькое лицо было Бобкиным. Нос был Бобкин. И уши. И рот. И Бобкина одежда.

— Он же...

Шурка хотел сказать «живой», но понял: уже нет.

— А что ему? — пожал плечом Бобка и добавил просто: — Жуки не плачут. Значит, им не больно.

Шурка глядел, глядел, глядел.

— Еще в школу опоздаю, — пробормотал, не глядя на него, Бобка. — Точно, так и есть: опаздываю.

И выскочил.

Это не мог быть Бобка. И все-таки это был он.

На полу от жука темнело мокрое пятно.

«А Таня бы жука не раздавила», — тотчас подумал Шурка.

— Таня, — прошептал в кружку одиноко плававшему в кипятке бурому, разбухшему, разлохматившемуся листку. — Где же ты? Ты так нам нужна! Я один не справлюсь.

Был тот час, когда на улицах больше всего детей. Маленькие и большие, все с портфелями, сумками, мешками на веревочке. Они шли, брели, прискакивали, бежали. Улицами, переулками, некоторые даже вовсе не разбирая дорог — пустырями, огородами, через заборы. С разных сторон. Но все в одном направлении. Как металлические опилки, которые притягивает магнит.

Второй такой час случался, когда уроки заканчивались. Магнит терял силу, и металлические стружки рассыпались кто куда.

Шурка добежал до дома с кружевными деревянными бровями. Кто-то что-то крикнул в спину, Шурка обернулся, но некогда было соображать, кто и что. Школьники топали мимо. Сворачивали налево. К школе.

Шурка, не сбавляя бега, свернул направо. Здание больницы выдвинулось на него большим каменным утюгом.

Шурка взбежал на крыльцо, потянул тяжелую дверь, юркнул, пока она не успела пнуть его в спину. Гулко застучали под ногами кафельные плитки-шашечки. Бросился к полукруглому окошку:

— Здравствуйте! Врача. Вызвать. На дом. Детского.

Женщина в белом колпаке посмотрела на него через очки строго. Но перо взяла.

— Ты отдышись. Вот так. Теперь еще раз и по порядку.

— Детского, — повторил Шурка.

— Сейчас все врачи общие, — не приветливо сказала она. Но Шурка видел: к сведению приняла. — Адрес, имя, возраст больного.

— Зачем еще?

— Карточку заполнить. Ты как думал? Есть карточка у больного?

— Не знаю.

— Фамилия как?

— Он еще младенец. Больной.

Женщина вздохнула. Почесала кончиком пера лоб под колпаком.

— Тогда нет еще карточки, скорее всего. Заведем.

Она начала рыться, шуршать формулярами.

— А долго? — нетерпеливо бил носком ботинка Шурка.

— А что, случай острый?

— Острый! Очень острый!

— У нас сейчас каждый врач на счету, — пробормотала недовольно.

— Неотложный случай!

Поклевала пером в чернильнице.

— Адрес, имя, возраст больного.

Шурка торопливо продиктовал ей все, что требовалось. Регистраторша сняла трубку.

— Павел Иванович? Да. Вызов примете? — Она покосилась на Шурку: — Говорит, острый. Младенец совсем. Ага. — Прикрыла трубку рукой, колпак повернулся к Шурке: — Какие симптомы? На что жалуется?

Шурка спохватился. Об этом он подумать забыл!

— Чего мычишь? Не знаешь?

— Не знаю, — нашелся Шурка. — Как же он может жаловаться? Он говорить не умеет еще. Кричит. И горячий весь.

Регистраторша кивнула, сделала отметку в карте. Дальше в трубку:

— Температура подскочила, говорит. Может. — И снова Шурке: — Жди. Сейчас спустится врач.

Шурка ступал на носках — только на черные шашечки. Белые означали неудачу. Шурка балансировал руками, но пока все шло хорошо. По лестнице повалили вниз шаги. Шурка качнулся, одну ногу предательски повело. Но выровнял. Успел.

— Павел Иванович! — крикнула из окошка регистраторша. — Вон мальчик. Который вызов сделал.

Человек остановился, стал натягивать плащ поверх белого халата. Между колен держал портфель. Шурка ждал.

— Идем, — сказал Ловец снов.

Глава 18

— А Игнат?

— Игнат раненых с вокзала возит, — бросил на ходу Ловец снов. — Состав из Сталинграда пришел. — Насмешливо: — А ты что, уже утомился на своих ногах идти?

Шурка не ответил.

Дошли молча.

Он не шутил, не кривлялся. Только глотал зевки, мелко моргая глазками. Под ними были сизые мешочки. Вид у Павла Ивановича был усталый.

— Работы много, — буркнул. Повесил плащ на гвоздик. — Руки помыть.

— Я вам полью, идемте.

Ловец снов шелестел за ним своим белым халатом. Руки вымыл молча. Молча промокнул поданным полотенцем. Молча погрузил их в свой портфель. Чем-то захрумкал, перекладывая. И вынул обычный стетоскоп.

«Интересно. А в других городах он сейчас — кто? Слесарь, водитель трамвая, продавец, летчик? Есть у него жена, дети? Ушел на фронт?»

Тот услышал мысль. Глянул неодобрительно. Но вслух не ответил — ни шуткой, ни язвительным замечанием. Никак.

На ходу вставил дужки в уши, расправил резинового червяка, подышал на железный кругляшок, согревая, и опустил его в ящик к Вале маленькому. Шурка подошел, заглянул.

Валя маленький серьезно изучал незнакомое лицо: хороший? плохой? Круглое железное ушко переступало по его груди. Ловец снов слушал, подняв глаза к потолку.

— Так-так.

— А Валя маленький нам зачем?

Скинул дужки себе на плечи. Стетоскоп болтался у него на груди. Теперь Ловец снов пальцами щупал Валу за ушами, за щеками. За обе стороны сразу.

— Ни за чем. Работа у меня такая. Осмотр.

Принялся осторожно мять Вале живот.

Он весь сегодня был какой-то не такой. Нахохлившийся, усталый. Не страшный. Шурка осмелел:

— А вы на Игната за что разозлились?

Тот удивленно моргнул.

— За что вы его в лошадь превратили?

На миг лицо Ловца снов стало обычным: встали треугольником брови, иронически скривился рот.

— Он и есть лошадь. И всегда ею был. Просто однажды стукнуло в башку его дурную — захотел человеком стать. — Наконец поглядел Вале в лицо: — Молодец. Как соленый огурец.

Валя заулыбался беззубо, пустил пузыри. «Детей легко дурить, — подумал Шурка. — Он и Бобку бы надурил. И никакой бы глаз не помог».

Ловец снов убрал стетоскоп. Взял за спинку стул. Поставил посреди комнаты. Сел, расставив колени. Подтянул к себе портфель. Кивнул:

— Садись напротив меня.

Шурка выволок себе стул. Сел.

— Тоже осмотр? — спросил он склоненную белую спину. Ловец снов, изогнувшись, снова рылся в портфеле.

— А ты на что-то жалуешься?

Выпрямился. В руках у него был бубен.

«Еще как, — подумал Шурка. — С чего бы только вам начать перечислять». Ответил:

— Нет.

На бубне колыхались пушистые хвостики.

— Хорошо.

— Закрывать глаза сейчас?

— Как хочешь.

Шурка закрыл. Но сразу открыл.

— Только я ничего не помню. Я не помню страну Младенческих снов.

— Не страшно. Это нормально, что ты не помнишь. Ты же не помнишь, как был младенцем?

— Нет.

— Молодец.

Шурка посмотрел на него с сомнением.

— Страну Младенческих снов каждому человеку необходимо забыть, — пожал плечом Ловец снов. — Если начал жить в этом мире. Поэтому младенцы и не разговаривают — чтобы в этом мире не наболтали лишнего, пока они все помнят.

— Значит, когда Валя маленький научится говорить, он все забудет?

— Он научится говорить, только когда точно все-все забудет, — поправил Ловец снов. — А пока страна Младенческих снов ему ближе, чем эта. Там он все знает, во всем разбирается. Ему там привычнее. А здесь он

совсем новый — ничего не может, ничего не понимает, один. Тоска.

«Знакомое чувство», — промелькнуло у Шурки.

— Он поэтому все время спит? — покосился на ящик.

Ловец снов кивнул. Бубен лежал у него на коленях.

— Они спят. А я сижу рядом. Ловлю сны.

— Зачем? Если им там привычнее.

— Верно. Я и сказал: привычнее. Я не сказал: лучше или веселее.

Тон был прежний, нахальный.

Шурка вздохнул.

Врач хлопнул его по плечу.

— И потом, знаешь ли, из той страны можно и не вернуться. Чего ты вскочил?

— Ничего. — Шурка снова сел.

— Таню-то лезешь искать?

— Ничего я не испугался. — Шурка закрыл глаза.

По тому, как дрогнул воздух, он понял, что Ловец снов поднял бубен.

— Помни: глаза только не открывай. И держись за меня крепче.

Стукнул у самого уха бубен.

Шурка от неожиданности дернулся на стуле. Зажмурил глаза крепче. Стук зазвенел. Раз, другой, еще. Стук гудел. Рокотал. Пел. Подходил, отходил. Описывал круги и петли.

— А-а-а, — негромко тянул Ловец снов.

Бубен гудел толчками, словно подталкивал это «а-а».

«Таня. Думать о Тане», — приказывал себе Шурка. Имя ее тотчас расплылось. Его тотчас стерли совсем, унесли волны странной колыбельной: Та-а...

...А-а-а-ня.

А-а-а.

Шурке казалось, что его голова сама уже качается на этих волнах, как мяч, брошенный в море. Легкая, как мяч. Пустая.

Хотя какое уж там море — Финский залив. Одно название. Идешь, идешь, а воды все по щиколотку. Виден сизой грядкой на горизонте Кронштадт. Уже, кажется, и Финляндию скоро будет видно. А вода щекочет всего лишь под коленями.

«Бросай мяч, мама!»

Кто это крикнул? Шурка обернулся. Но тело не слушалось. Таня?

Та-а-а.

А-а-а.

Он попробовал заглянуть маме в глаза. Но лицо расплывалось.

«Мама!»

Ма-а-а. Ма-а-а. Колебался звуками воздух.

«Я забыл мамино лицо», — ужаснулся Шурка.

А-а-а.

Хоть бы еще раз его увидеть, чтобы не забыть больше никогда!

Он попробовал увидеть папу. Но видел только светлый силуэт с синим пятном купальных трусиков. А мяч все качался в волнах. В пустой голове отдавался их плеск.

«А! А!» — закричала чайка голосом Ловца снов.

Ой. Шурка почувствовал, как дернуло сердце. Как будто от сердца тянулась веревка.

Веревка натянулась. Какая тяжелая. Веревка между ним и Ловцом снов. А если тот наврал? И пальцы разожмет?

Веревка снова дернулась. Отдало прямо в сердце. «Держит меня», — понял Шурка.

А-а-а.

Вокруг Шурки снова была идеальная непроницаемая темнота. Ветер стал холодным. И мысли тоже. «А Валя маленький? — думал Шурка. — Бедный».

У Вали маленького не было даже воспоминаний. Своего папу он ни разу не видел. Нечего ему было помнить. Мысли Шурки качались, прыгали, путались.

Ветер выл, стонал, рыдал, ухал.

А! А! А-а-а! А!

И вдруг стих.

Некоторое время тишина была такой же непроницаемой, как темнота. Потом Шурка услышал.

— Бедняга, — вздохнул кто-то в темноте. — Бедный коняга.

— Жалко животную, — сокрушался в ответ другой.

— Вы меня слышите? — встрепенулся Шурка. — Эй!

— А людей что, не жалко, Бородин? — вдруг спросил голос.

А другой ответил:

— Люди, товарищ Кольцов, знают, что делают. А животные не виноваты ни в чем.

Потом заговорил воодушевленно:

— Каплан! Чай-то пить будем?

«Какой еще Каплан?» — похолодел Шурка.

— Будем, — отозвался Бородин. — Сейчас все будем, товарищ командир. Валентин-то наш где? Не видели Валентина? — И подумав: —

Может, опять ягоды под снегом ищет.

— Валька! — заорал голос.

Другой рассуждал:

— Какие ягоды под снегом?

— Дак которые с осени замерзли. А зверье не обобрало — уснуло на зиму.

— Чхеидзе! Ты дрова притащил? Вон дерево в щепки разнесло. Набрал бы ты на растопку, что ли.

— Где вы? Где вы? — шептал в ужасе Шурка. Но голос отвечал явно не ему:

— Городской ты человек, Бородин. Щепка эта сырая больно. Дерево-то живое было.

Шурка перестал чувствовать свои руки и ноги.

— Стойте! — попробовал он позвать Ловца снов. — Таня не знает никаких Бородина и Каплана.

— Выпьем, пока затихло.

— Я зашел не туда! — крикнул Шурка. — Назад!

— Вот немец гад, — меланхолично заметил на это, вероятно, Чхеидзе. — Бьет ровно по часам. Может, чаю успеем выпить.

И вдруг заорал страшно:

— Ложись!

— Верните меня! — кричал Шурка, закрыв глаза руками, потому что боялся, что от отчаяния они раскроются сами. — Вернитесь!

Глава 19

Веревка уволокла его.

Шурка открыл глаза. Ловец снов сидел напротив.

Шурка сразу обернулся на комод. Поднялся, подошел, заглянул в выдвинутый ящик. Голова Вали маленького моталась из стороны в сторону, глаза под выпуклыми веками подергивались, ноги сучили — снег, видно, был глубокий. Валя постанывал, но не просыпался.

— Бежит по лесу, — прошептал Шурка. — Теперь он знает, что его папа пошел искать замерзшие ягоды. Все собрались выпить чаю. Пока затишье. А он — за ягодами. Пока думали, что затишье, — поправился Шурка.

Ловец снов рассеянно поглаживал бубну хвостики.

Бородин, Чхеидзе, Каплан и командир Кольцов погибли под обстрелом. Иначе их не было бы в стране Младенческих снов.

А Валя большой?

ЛИНИЯ ОТРЫВА. За ней — что? Без вести. Вот именно что без вести.

— Хорошо. А Таня? — строго начал Шурка.

Но Ловец снов развел руками.

— Ты сам выбрал.

— Врете! Я туда не хотел. Я совершенно точно помню. Я думал: Таня, Таня, Таня!

Последнее слово он почти выкрикнул. Голова Вали остановилась, ноги одновременно подтянулись к животу.

Шурка захлопнул рот. Поздно.

— Пех-пех-пех, — запустил свой мотор Валя. Быстро достиг нужной отметки. Лопнул, заорал.

— Ну вот, разбудили. — Шурка сунул руки в ящик. — Ах ты бедняга. Разбудили тебя, да? — Он прижал Валю к себе, одной рукой придерживая голову с пухом вместо волос, а другой подперев попку. Сквозь Шуркин рукав тотчас просочилась влага. Но отвращения не было. Шурка спросил сочувственно:

— Напугался? Написал?

Тот сразу захныкал.

— Сейчас тебя переоденем в сухое.

Шурка положил Валю. Нашел и встряхнул чистую пеленку.

— Подумаешь, написал. Стесняться нечего, — приговаривал он.

Ловец снов молча наблюдал за ним. Вздыхнул:

— Вот видишь.

Поднял крышку портфеля, стал, осторожно придерживая рукой хвостики, опускать в него бубен:

— Вот и я говорю. Добрым людям чужое несчастье всегда кажется больше собственного. И с письмом, конечно, неудачно вышло. Хотел, понятно, как лучше. А вместо этого... Лушка ждет, мальчишка надеется.

Каждое слово хлестало как крапива. Щелкнул замочек портфеля.

«Сам ты добренький», — разозлился Шурка.

— Значит, и глаза вам не видать, — выпалил.

— Да я уж понял, — щелкнул замочком Ловец снов.

Шурка сунул руку в карман брюк.

— Я еще как вошел, заметил, — устало добавил Ловец снов. — Но подумал: ладно.

Рука слепо ткнулась. Нашла шов, крошки, сор.

— Подумал: пусть. Раз уж я все равно притащился пешком в такую даль. Сделаю, подумал. Не буду мелочиться. Я ведь могу. Сделаю, просто потому что могу.

Глаза в кармане не было.

Глава 20

Бобка держал мишкин глаз на ладони.

Поднес ему к самому носу. Ноздри дрогнули. И отвернулись.

— Подумай хорошенько. — Бобка зашел с другой стороны, опять сунул глаз. — Возьми его. Может, получится?

Тот шумно вздохнул. Но ничего не сказал. Отвернулся опять.

Бобка подождал.

— Я же все понимаю. Я правда понимаю! — горячо зашептал он. — Этот всегда врет. На самом деле ты хороший. Я понял: ты их превращал, потому что жалел.

Конь отвернул морду — якобы что-то интересное увидел в стороне. А поскольку в стороне не было ничего, кроме дощатой стены сарая, Бобка понял: не хотел, чтобы увидели его выражение, глаза. Значит, правда.

— Он говорил, мол, нет такого правила, чтобы люди туда-сюда шастали. Сегодня она тетенька, завтра — сорока, а потом опять тетенька. Ему все по правилам надо! А какие ж правила, если ей лучше сорокой побыть какое-то время? Переждать все это. Я бы и сам переждал! Летай себе куда хочешь. Еды навалом. А они ее тут пусть ищут как дураки. Кто ж сороку арестует? И от немцев ты их тоже прятал.

Игнат все равно не ответил. Но глаза опустил. Они еле видны были под длинными ресницами. От него сильно пахло потом. Он согнул ногу, колено мелко задрожало.

Устал, догадался Бобка. Вот и разговаривать не хочет.

— Да ты поешь еще, может? — принялся он уговаривать.

Взял охапкой сено, разложил клочьями. Поаппетитнее. Игнат наклонил голову. Понюхал. Взял кончиками длинных мягких губ. Но тут же уронил клок обратно в дощатую лоханку.

— Я даже про Бурмистрова понял! — зашептал Бобка. — Его ты тоже пожалел. Теперь ему хорошо. Где хочет — поспит. Где хочет — посикает. Захочет — на людей полает, как он привык. Зато живой. Все же говорили: «Тюрьма по нему плачет». И ножик у него был. Да? Ты его не в собаку превратил — ты его от судьбы его спрятал.

Игнат наконец посмотрел ему в лицо карими терпеливыми глазами. И Бобка понял: все правда.

Обнял потную шею. Прошептал ей:

— Если бы не он, ты бы и Вовку спрятать успел. Ты же мог. Правда?

Шея была теплая, добрая. Уши мохнатые.

— А Таню ты в кого превратил? Ведь ты ее превратил, — зашептал в мохнатое дупло Бобка. — А мы вначале не верили. Ты только не обижайся. Ну скажи, где она?

В отвислых губах лошади ему почудилось что-то напыщенное и недоверчивое. Бобка быстро зашептал:

— Я глаз тебе отдам. Честно-честно.

Поднес глаз опять. Он отразился в живом, карем.

— Только ответь.

На стекло упало теплое лошадиное дыхание. Стекло на миг затуманилось. Снова стало ясным.

— Я знаю, ей сейчас хорошо. Она сейчас животное. Такое сейчас время, что только зверям и хорошо. — Голос у Бобки дрогнул. — Ей хорошо: она животное, ничего не понимает. А я...

Игнат сложил губы трубочкой.

— Думал, здесь хорошо. А они даже сюда дотянулись — и Вовку убили.

Игнат тряхнул челкой.

— Если бы ты знал, как я их ненавижу. Всех ненавижу.

Он уже сам точно не знал, кого имеет в виду: тех, что арестовали маму и папу, или этих, которые морили и обстреливали Ленинград, погубили Вовку.

— Всех!

Игнат чуть отодвинулся. Снова глядел на Бобку из-под длинных рыжих ресниц.

— Я бы руками их поубивал. Каждого. Убивал бы — и радовался. А если бы сто раз мог каждого убить — сто раз бы убил. А Тане хорошо. Она не понимает.

Упал прямоугольник света.

Зарокотало ведро, потом голос. Бобка отпрянул, сжимая глаз в кулаке.

— Мальчик, ты что возле лошади крутишься? Ну-ка! Вот сейчас уши надеру!

В лунном свете дорога поблескивала двумя серебристыми рукавами. Как платье, которое начали складывать и бросили. Один лежал прямо, другой — в сторону.

«Черт, если б я знала, что так выйдет, я бы зубрила географию, — с досадой подумала Таня. — Все к черту — только одну географию».

Попробовала представить карту СССР на стене в школьном кабинете.

Бухара внизу, примерно на юге. Стало быть, идти в Ленинград следовало примерно на север. То, что у юга были юго-восток и юго-запад, и у севера, значит, тоже, некстати усложняло дело.

«А еще говорят, что кошки всегда возвращаются домой. Брехня».

Даже тот рукав дороги, что вел прямо, лежал наискось. Обещал зигзаги, изгибы, повороты.

Она осмотрелась. Впереди была синяя темнота. В стороне чернели дома. Огней нет, видно, все спят.

«Сверну туда», — решила Таня. Затрусила, подняв хвост, по обочине.

Но уже через минуту под усами зачесалось. Она мягко стукнулась лбом. Как в воздушную стену. Остановилась, тряхнула головой. Поводила ушами. Странно. Двинулась вперед. Снова мягкий толчок.

Что за ерунда.

Усы задрожали. Теперь ее тащило как в водоворот. Словно в голове заработал невидимый компас, словно все тело стало магнитной стрелкой. Лапы начали подгребать. Таня с изумлением поняла, что уже промахнулась развилку и теперь бежит по дороге, которую не выбирала, — той, что вела прямо. Прочь от человеческих жилищ.

«Ну и ну. Ладно. Посмотрим», — сказала она себе и, положившись на требовательный компас внутри, уже просто работала лапами.

Усталости она не чувствовала. Спать не хотелось. Ночной ветерок приятно охлаждал нос, но, как ни надувал щеки, не мог пробраться под мех. Черными щетками стоял по сторонам лес.

Дорога делала изгиб. Таня стала закладывать поворот, но компас был против. И лапы вынесли ее за обочину. По бокам царапали ветки, хлестала трава. Зато компас удовлетворенно молчал: теперь все верно.

Таня не знала куда идет. Знала только, что идет, куда нужно.

И вдруг поняла, что дороги и карты ей больше не требуются.

«Говорят, кошки всегда возвращаются домой. Хоть через сотни километров. Наверное, именно это сейчас и происходит», — с облегчением сообразила Таня.

С этого момента все пошло как по маслу.

Идти Таня предпочитала по ночам.

А днем спала.

Всегда находились норы, лазы, лазейки. Подвалы, в которых забыли закрыть окно, незапертые чердаки, деревья с дуплом, еще не занятым ни совой, ни белкой. Впрочем, ни тех, ни других Таня не опасалась. Неслышная и быстрая смерть с мягкими лапами, бритвами-когтями, глазами, которые видели в темноте. Теперь все боялись ее.

В темноте снова показалась деревня. Силуэты домов были такими черными, что ночное небо сразу показалось не черным, а темно-синим. И снова ни огонька. Собаки тоже не лаяли.

— Отлично, — сказала сама себе Таня и спрыгнула на дорогу.

«Назад!» — завопил компас. Трещали, как наэлектризованные, усы, лоб, казалось, пробивал толщу воды. Но Таня не обращала внимания. Легкими скачками несла себя к домам.

«Подлижусь, — надменно размышляла она. — А что? Кошек все любят. Потрусь об ногу, помурлыкаю им, проделаю всю эту дребедень. Зато...» При мысли о тарелочке молока заломило уши. Таня давно не держала во рту человеческой еды. «Корку хлеба съем, — с озорным наслаждением думала она. — Пусть удивляются: кошка — и лопают хлеб. А я и огурец могу. И лук».

Мышей, птиц, лягушек она уже не жалела — ела, не думая ни о чем. Тупо. Один раз ей попалась улитка. Съела и ее. Ничего особенного. Похоже на сосиску, только без вкуса и запаха.

«Назад!» — вопил внутри компас. «Ага, уже», — холодно думала Таня, рысцой трусая вперед. К деревне. Оттуда тянуло горьким запахом дымка. «На печке, может, поваляться дадут, — мечтала она. — Человеческой еды поем. Посплю в доме. И тогда пожалуйста — можно и назад». Прибавила компасу: «Заткнись».

И чего вопит? Вон даже собак нет.

Над деревней стояла вязкая тишина. Первые дома выдвигались черными утюгами.

Таня шевельнула ноздрями. Горелый запах сделался таким густым, что в нем тонули остальные. Ни огонька, ни лая. И вдруг Таня поняла, что дома черны не от того, что черна ночь. Они сгорели. Ее лапы тонули не в пыли, а в пепле.

Новые Танины глаза остро видели в темноте. Она хотела бы думать, что не разглядела ничего. Что перепутала. Что померещилось.

Но разглядела, не перепутала, не померещилось.

Перед ней стояла виселица. На деревянной ноге белел листок с паучком черной свастики. Дальше шли буквы. Тела повешенных неподвижно вырисовывались в столь мучительных деталях, что Таня брызнула прочь, не успев понять, сколько висело. Восемь? Десять? Дюжина?

Городов, сел, деревень Таня теперь избегала. Но и это мало помогло. Они были везде. Повсюду.

Уже обглоданные временем и непогодой, едва белеющие на земле,

почти их принявшей, уже пропустившей сквозь них траву. Они, видимо, были здесь еще с самых первых дней войны. Как много времени нужно дождю, солнцу и ветру, чтобы?.. Таня не знала. Были и совсем еще как живые. В касках или пилотках или вовсе с непокрытой стриженной головой.

Везде.

На полях, полянах, среди леса.

Полей и лесов Таня теперь боялась. Но однажды решила обойти оврагом. Те, у края оврага, точно были живыми. Тянулся папиросный дымок, рокотал разговор, порхали смешки. Торчали три лопаты, стоял трактор. Не танк, не развороченная пушка, не разбитый грузовик. Вид у трактора был мирный, доверчивый, как у тельенка. Четверо в серой форме курили и отдыхали после трудной работы: рукава у них были закатаны. Один увидел Таню. Удивился, заулыбался. Сел на корточки. Остальные обернулись. Тоже зацвели улыбками.

— Миц-миц-миц, — позвал тот, на корточках. И протянул руку понятным жестом — щепотью. «Это значит кис-кис-кис», — догадалась Таня. Из оврага слышалось ласковое бормотание воды: ручеек.

Было странно видеть немца так близко.

«Человек как человек», — удивилась Таня. Он улыбался и протянул руку, чтобы ее погладить. Компас молчал. Было не страшно. Голубые глаза человека глядели добродушно. Опасности не было.

Таня подошла к человеку. Он погладил ее. Бережно и умело взял под живот: было ясно, что у человека где-то остался дом, а в доме — кошка. А значит, жена и дети. Одиноким мужчины не заводят кошек. Рука ласково ходила у Тани между ушами. Нос человека зарылся ей в затылок, выпускал теплые струйки воздуха. Таня потерлась о шершавую небритую щеку.

И с высоты его роста увидела.

В овраге.

Они лежали рядами. Не в пилотках и касках. Самые обычные. В рубашках, костюмах, юбках. Старые, молодые, дети. Журчала не вода — кровь. От них еще тянулось отлетающее тепло. Кровь пахла железом.

Шерсть у Тани на спине встала дыбом.

Она брызнула прочь как полоумная. Рванув когтями щеку, руки.

Долго неслась большими скачками, не разбирая куда. Пока не свалилась.

Бока вздувались, в легких резало. Таня заползла между корней большой сосны — в тишине было слышно, как она шумит. Глаза никак не могли закрыться. Нижняя челюсть тряслась, тянулись нити слюны: Таня плакала.

С тех пор людей она боялась еще больше, чем лесов, чем полей.

Глава 21

— Бобка?

В избе было темно. Только синий квадратик окна. Смутно белела печь. Никого? Шурка замер. Странно. Шаркнул, придвигая к стене ботинки. В ответ шевельнулась черная скала. Голубая от темноты косынка.

— А, это ты.

«А вы почему в темноте сидите?» — хотел спросить он Лушу, но слова сделались сухие, отвердели во рту, как глина. Теперь глаза различали черные прямоугольники комода, стола, лавок. В комоде закричало: Валя спал.

Шурка боялся и смотреть в ту сторону.

Ему теперь казалось, что в комнате разит несчастьем. Что это оно разлилось темнотой.

— А Бобка где? — спросил, стараясь говорить обычно. Глаза, привыкшие к темноте, искали на черном прямоугольнике стола серое, синее — новое письмо, опять «гр-ке», с линией отрыва. Не нашли. В руках у Луши тоже черно — пусто.

— Стенгазету пошел в школе клеить.

Голос странный, но не мокрый от слез. Может, и не письмо.

Плечи у Шурки чуть обмякли.

— Вы чего в темноте?

И сразу же испугался, что она ответит. Засуетился.

— Спички кончились? Я сбегая!

— Есть спички.

— Керосин кончился? Схожу!

— Не нужно.

— Сломалась лампа? Давайте я посмотрю!

— Да сядь. Сядь. Посидим. Повечеряем.

Шурка сел, чувствуя, как колотится сердце, как пересохли губы. И брякнул ни к селу ни к городу:

— Я не проболтаюсь.

Луша невесело усмехнулась:

— Это хорошо.

И снова замолчала. Шурке казалось, у него, пока она молчала, успели вырасти волосы — начали колоть, щекотать шею, над ушами. Невыносимо.

— А у райкома проходила, — начала Луша.

Она тоже старалась говорить обычно, но получилось таким голосом, что Шурка зажмурился, ждал продолжения: «Почтальоншу там встретила». Ждал, как удара молотком по голове.

— Плакат там, знаешь?

Плакат был давний, всем известный. С самого начала войны. Женщина в косынке. Косынка сбилась, брови сдвинуты, рука вскинута.

— И как обухом меня шарахнуло, — с трудом продолжала Луша чужим голосом. — Аж в глазах темно стало.

«Хороший плакат», — вспомнил Шурка. «Родина-мать зовет». А за плечами — штыки.

— Ты его видал ведь? Плакат?

— Хороший, — осторожно ответил Шурка.

— Я тоже так думала. Пока у меня Вальки не было. Я ведь и за Вальку большого обрадовалась. Мой-то, мол, герой, мужик, на фронт сразу ушел.

Она обернулась в комнату. Кивнула на аханье, бульканье.

— А теперь вот лежит. Мужичок. И все мне теперь другое. А та, значит, родина. Мать.

Она запнулась. Прислушалась к Шуркиному дыханию. Увидела его глаза в темноте. И решила продолжить:

— Напал бы если на меня кто. Допустим. Я бы сказала им: рвите меня, душийте, на куски режьте. Только Валю, сыночка, не трогайте. Вот так, Шурка, оно, когда ты мать. Я бы не сказала: иди, Валюша, ты, мол, это, умри — а я буду жить. Ни одна мать такое не скажет. Не подумает даже. Ей в голову это не придет. Фух. В жар кинуло.

Она сняла с головы косынку. Комкала ее.

— И того. Стою перед плакатом. Как обухом меня. Мысли так и полезли. Какая ж это родина? Что это за родина такая? Что это за мать такая? Кто плакат этот нарисовал?

Шурке так и хотелось посмотреть на косынку в руке. Но он не отводил взгляд от Лушиных блестящих, беспокойных глаз. Что ей ответить?

Что бы он сказал на такие слова своей маме?

— Я стояла, — тихо изумлялась тому, что говорит, Луша. — И мне хотелось крикнуть. Сорвать этот плакат. Смять его. На кусочки разорвать. В рожу бросить.

— Кому?

Луша задумалась. Тихонько засмеялась:

— Не знаю.

Вздохнула.

— Запуталась я. От усталости, наверное.

Вытерла косынкой лицо. Переложила за спину косы.

Косички, словно впервые увидел их Шурка. И вдруг понял, что Луша — почти девочка. Почти настолько же старше Тани, насколько Таня старше его, Шурки. «Таня, — подумал он опять. — Я знаю, что ты где-то есть. Я чувствовал бы, что тебя нигде больше нет».

Луша похлопала его по руке, опустила ее, как слишком жаркий шарф. Убрала. Встала.

— Наговорила я тебе тут глупостей. Не сболтни смотри никому. Плохая я комсомолка, вот что. Мне надо пойти и сказать: исключите меня. Пока не распутаясь. Пока снова у меня в голове все ясно не станет.

Наклонилась. Щелкнула медным колечком. Лампа показала себя во весь оранжевый рост, всю комнату показала — кроме углов, куда ей не хватило огонька дотянуться.

— Ты есть-то хочешь?

И Луша опять побежала привычными кругами, петлями, восьмерками, поправляя, постукивая, переставляя, вынимая, моя, режа, помешивая, наливая, вытаскивая.

Шурка развязал холщовый узел с бельем. Начал разбирать. Как Луша научила. Белое в одну сторону. С рисунком — в другую. Тоненькое — в третью.

Он думал над тем, что сказала Луша. Руки метали. Белое в одну сторону, цветное — в другую, тоненькое и красивое — в третью.

Стукнула своим обычным голосом дверь. Дважды бухнуло: бух — левый ботинок, бух — правый.

— Явился. Замечательно, — поприветствовал его Шурка самым нехорошим, многообещающим голосом.

Но Бобка сделал вид, что обещаний не понял.

Не спеша прошелся.

— Фу ты! Под ногами так и крутится, — турнула его Луша. Сунулась, чтобы схватить кучу. Отдернула руки. — А белое где? У меня вода уже закипела.

Шурка посмотрел. В трех кучах было всего примерно поровну: и белого, и с рисунком, и тоненького.

— Эх ты, тетеря, — покровительственно пихнул его Бобка. Сел рядом.

— Мы сейчас вдвоем все быстро разберем, — пообещал Луше. Та кивнула на бегу.

Руки тянули из куч тряпки. Руки скрещивались. Руки стукались.

Со стороны казалось: братья уютно беседуют.

— Глаз гони, — прошипел Шурка.

- Глаз — мой.
- Не твой.
- Мишка был мой. Значит, глаз мой.
- Мишку принес я!
- И мне подарил. Подарочки — не отдарочки.
- Препираться можно до бесконечности.
- Бобка. Дело же не в этом.
- А в чем?
- Если он правду сказал про двери...
- Он врал, — быстро перебил Бобка. — Он нас ненавидит.

Шурка вспомнил голос Ловца снов: «Война почему? Да по кочану. Зло входит в этот мир. Так было, так есть, так будет. Это ерундовский вопрос. Чтобы войти, нужна дверь. Если есть дверь, ее надо открыть. У зла рук нет. Руки у человека есть. Отоплет он свою дверь или нет — вот это вопрос хороший!»

Шурка представил так: открываешь дверь — в нее вползает черный ядовитый дым. Или захлопываешь.

Врал он все-таки или нет?

— Ты смотри, куда кидаешь, — укоризненно кивнул Бобка на наволочку в розах. Перенес в другую кучу. В цветное.

— Понимаешь, Бобка. Да пусть он подавится глазом этим. Лишь бы сделал.

Бобка молча кинул в сторону белое льняное привидение.

— Он же сказал: не может. Люди сами должны.

— Бобка, вот именно. Сами. Им просто надо разок показать.

— Да что?

— Что время стоит.

— Ну?

В глазах у Бобки блеснул интерес:

— И тогда их всех убьет?

— Наоборот! Тогда они тоже все поймут. И остановятся.

— Что поймут?

— Что ты сразу и младенец, и мальчик, и взрослый, и старик.

— Ну.

— Просто мы идем и поэтому каждый раз видим только одно. Я вот смотрю на тебя — и вижу мальчика. А они, которые воюют, они смотрят и тоже видят только одно: взрослых.

— Ну?

— Запряг, что ли? — не удержался Шурка. — Ну да ну.

Бобка прыснул.
— Смотри: трусы, — показал. — И не стыдно им?
Брат не засмеялся. Вырвал у него из рук. Бросил.
— Куча неправильная, — изрек Бобка.
Шурка будто не слышал.
— Бобка, им просто надо разок показать друг друга маленькими.
Как Валя. С попкой, беспомощными.
— Немцам? Или нашим?
— Обоим. В смысле — всем.
— А то они попок не видели.
Но брат не засмеялся.
— Я точно тебе говорю! Разве можно выстрелить в Валью маленького?
Он такой дурацкий, смешной. Его даже ударить невозможно! Что?
Бобка захохотал. В руке трясся розовый прямоугольник с двумя дырками.
— Да хватит уже про эти трусы, — рассердился Шурка. — На голову их себе надень, если тебе смешно!
Бобка так и закатился.
Сунулась Луша.
— Чего веселитесь? Бобка?
Тот повалился в белое, хохоча. Луша тоже начала улыбаться.
— Шурка? Чего смешно-то?
— Да Шурка!.. Ах-ха-ха-ха. Попки!
Луша посмотрела на Шурку. На Бобку.
— Я над ним смеюсь! — показал Бобка пальцем. — Добренький.
Держите меня.
Шурка опешил.
— Маленькими? — покатывался Бобка. — Ой, не могу... Голенькими?
— Кого? — Луша не понимала ничего.
— Слюнтяй ты! Убивать их надо! Убивать! — заорал Бобка в лицо — ей, Шурке, всем. — Убить их! Всех! Тогда войне конец! Понял! Оружие надо! Невиданное! Небывалое! Чтобы убить! Немцев! Всех! Разорвать! На куски! И дядек! И старых! И детей!
Мелькнула красная ладонь. Бац!
И стало очень тихо.
Бобка держался рукой за щеку.
— Ты что? — смотрел на Лушу.
Так удивился, что ему даже не было больно.
— Дура!

И бросился вон.
Ботинки его так и остались у стены.

Глава 22

Таня стояла на обочине, когда грузовик остановился. Грузовик наш, советский — она уже научилась их различать.

Это успокоило.

Она вышла.

Люди в кабине о чем-то посовещались: смотрели то друг на друга, то оба на Таню. Шофер и девушка в пилотке. Хлопнула дверца.

Девушка обошла грузовик спереди.

— Кис-кис-кис, — обрадовалась она.

От ее руки пахло говяжьей тушенкой.

— Кис-кис-кис, — звали по-русски румяные губы.

Тане стало стыдно за свою свалявшуюся шерсть. «Сейчас она увидит, какая я грязная и поганая».

— Кисонька.

«Дура, — обругала Таня себя. — Могла бы раньше и полизаться». Она это как-то сразу забросила: раз провела языком — чуть не стошнило. И бросила.

Девушка улыбалась. Таня попятилась. Все равно ничего не выйдет. «Сейчас она увидит, какая я блохастая».

— Иди сюда, милая. Ты что это здесь одна? Ничья? Ничья. Кис-кис-кис.

Таня подняла хвост. Запах тушенки тут же схватил ее за нос, потянул с обочины. Притянул к девушке в гимнастике.

Рука погладила пыльную Танину голову. Мягкая, ласковая.

— Что, очень грязная? — донеслось из кабины.

— Ну так.

«Очень», — поняла Таня. Чуть не померла от стыда.

— А лишай?

— В целом вид здоровый. Сойдет.

Ласковая рука крепко сжала Танин загривок. Земля провалилась. Понеслись вниз трава и обочина. Перед глазами — но все такое же недостижимое — было небо. Таня висела, обмякнув. Хлопнула и вторая дверца. Грохнул откидываемый борт.

Таня завывала, попыталась полоснуть когтями. Тщетно. Тело как чужое. «Точно. Так всегда», — в бессильной ярости вспомнила она. Кошки, которых держали за шиворот, висели, подтянув к животу задние лапы,

поджав хвост, беспомощно выставив передние. С тупым стеклянным взглядом. Теперь такой вот беспомощной и жалкой была она сама. Попыталась зарычать. Получилось сдавленное: «Ы-ы-ы».

Шофер уже нес клетку.

«Живодеры», — ахнула Таня. Все из-за грязной шерсти. Из-за того, что противно было себя вылизывать. Вот и получила.

— Ну, Мария, как ты и хотела, — радостно сказал шофер, распахивая дверцу. — Круглое число.

— А я знала, Петр Петрович! Я оптимистка! — Мария стала опускать Таню в клетку задними лапами вниз. — Я знала, что в последний момент найдем.

Пальцы выпустили шкурку.

— Полна коробочка.

Танино тело ожило. Она бросилась прочь. Ударилась о металлическую сетку. Задвижка щелкнула.

Таня попыталась хотя бы достать когтями — пропадать, так с музыкой. Но клетка уже плавно неслась по воздуху. Держали ее за ручку на длинной палке.

Таня заорала. Перед ней вырос зев кузова.

Оттуда повеяло тьмой и множеством дыханий.

— Тьфу, грязь теперь будет, — выругался шофер.

Таня с яростью и стыдом поняла, что описалась, обкакалась.

Он стукнул ее клетку в кузов. Зашуршал брезентовый занавес, отсекая дневной свет, надежду, жизнь.

В бензином, тушенкой и мочой пахнущей темноте острые Танины глаза разглядели много клеток.

Множество глаз ответило Таниным: испуганные, вопросительные, злые, отчаявшиеся, унылые, наглые, бодрые, сонные.

Кошки, кошки, кошки.

Заурчал, трясся весь мир, мотор.

Глава 23

«Внешность все-таки важна», — пришла к выводу Таня.

Стук колес убаюкивал. Совершенно чернильная темнота прерывалась полумраком. Только так было понятно, что наступал день. Окон в вагоне не было. Их везли не как пассажиров. Их везли как груз.

«Прикончат, — сначала думала Таня мрачно. — На шапки. На мыло. Все для фронта, все для победы». Но для того, чтобы прикончить, везли их как-то слишком далеко. Шапки можно шить где угодно.

Мысль о скорой смерти ушла. Времени думать о чем-то другом стало вдруг очень много. Только думать и оставалось. Клетки не отпирали. Раз в день — это был день, потому что стоял полумрак, — в вагон с лязгом падал квадрат света: отпирали вагон, отодвигали дверь. Влезал солдат в фартуке. Втаскивал с собой ведро. Лил воду в миски. Выбрасывал за ноги тех, кто не пережил ночь. Война не церемонилась с людьми — с чего бы ей церемониться с кошками?

Глаза с лунным узором. Веера усов и бровей. Шерсть, которую так приятно гладить. И мягкие лапы, которые так неприятно могут выпустить остро наточенные крюки. Но больше всего Тане в кошках нравилась независимость. Они не лезли в душу. Не навязывались. В их сердце невозможно было читать, как по раскрытой книге. Как у собак. Они не служили верой и правдой злодеям или идиотам, как собаки. Собаки казались Тане добрыми наивными дурачками, а у кошек был понимающий вид. Раньше.

«Это все глаза», — решила она. Загадочные. При близком знакомстве она поразилась, какие кошки все-таки дуры. В глазах их она уже не видела загадки — одну пустоту лунного пейзажа.

Такие независимые и надменные в обычной жизни, кошки, попав в клетки, и не думали бороться. Или бежать. Или хотя бы тяпнуть гада в фартуке. Они лизали свой мех, выгибаясь и подняв одну заднюю ногу пистолетиком, чтобы достать себя под хвостом (Таня отворачивалась от омерзения). Большую часть времени спали. А когда не спали — спорили. Каждой казалось, что гад в фартуке равнодушен именно к ней — налил воды побольше, чем другим. Причем спорили надменно, как герцогини. «Дуры», — обобщила Таня, несмотря на то что коты в этом вагоне тоже были. «Хоть и красивые», — признала она.

— Вонючая, вся в колтунах, фи! — донеслось до Тани.

— Боже, как мне повезло, — в голосе слышался сарказм. — Соседочка — отпад. Дышать нечем.

— Да помойка она, вот и все.

— На себя посмотрите, — робко попробовал вступить кто-то, очевидно, тоже не вовсе не знакомый со свалками и мусорными баками.

— И ты помойка, — последовало.

Таня усмехнулась.

— И еще ржет, как лошадь, фи!

Таня поняла, что это все о ней.

— Пошла к черту! — огрызнулась она в темноту. Темнота ответила шипением, урчанием. Некоторые урчали с подвыванием.

— А то что? — дразнила из своей клетки Таня. — Ну выйди и раздери мне морду. Выходи. Давай. Что это никто не выходит?

И в тот момент, когда ей уже стало казаться, что она всю жизнь жила в этом вагоне, в этой клетке, в этом качающем, постукивающем мире, стук и качка начали гаснуть. Затихли и кошки. И вдруг вагон ткнулся — клетки стукнули друг друга и так же друг от друга отпрянули. Лязгнула, поехала в сторону дверь.

— Санитарный груз! — заорал голос. — Принимай.

Свежий, мокрый, ни с чем не сравнимый запах рукавом съездил Таню по носу.

Она вскочила на все четыре лапы.

Не может быть.

Ошибка. Издевательство.

В запахе чувствовались нотки огурца. Ошибки не было.

— Как отвратительно пахнет, — забрюзжали клетки. — Здесь речка? Где мы?

В вагон полезли женщины. В серых платках и с серыми лицами. В фартуках. В толстых дворницких рукавицах. Они угрюмо хватали клетки. Подавали в открытую дверь. Запах вливался в нее широкой медленной рекой. Заполнял вагон. Рекой, которая только одна такая была на всем свете.

— Где мы? Где мы? — засуетились остальные герцогини.

Таня ахнула, заметалась, ударяясь о стенки. Тут же получила по клетке сапогом. Но завопила не от боли.

И поняла: пусть. Даже если на шапку или на мыло. Она больше не боялась умирать. Чего бояться? Ей это давно пришло на ум, когда еще были мама и папа, сама она еще любила птиц, а смерть была только в сказках. Таня больше не любила птиц, не было папы и мамы, а смерть без стыда гуляла по улицам. И все же: ленинградцы после смерти превращаются в

чаек — и качает, подбрасывает их ветер над рекой, которая называется то ли Туонела, то ли Нева, то ли Стикс.

— А ну не визжи, — опять двинул по ее клетке сапог. Но голос не злой и не смертельный — всего лишь смертельно усталый.

— Мы в Ленинграде! — кричала от радости Таня. — Мы в Ленинграде!

Клетка ее плавно взмыла вверх.

Клетка качалась, качалась, качалась.

Вместе с ней качались небо, паровозы, платформы, столбы, перроны, здания, деревья.

«Я в Ленинграде, я в Ленинграде», — не верила себе от счастья Таня. Здания были Лиговкой. Из других клеток — а женщины несли их по одной в каждой руке — утробно выло, рычало, шипело. Герцогини, среди которых, впрочем, были и коты, спохватились. Но поздно: теперь уже договориться было не о чем и невозможно — женщины с клетками расходились в разные стороны. Скоро вой, рычание, шипение стихли совсем. Соседка ее, в левой руке, тоже умолкла. Таня слышала только шарканье резиновых бот, шипение шин, позвякивание проносившихся трамваев.

Качаясь, проплыл назад мост без четырех коней по углам. Их где-то зарыли — подальше от снарядов и бомб.

— Зоопарк гуляет? — спросил веселый голос.

— Санитарный отдел, — буркнул ответ. — На очистку города от грызунов.

— Кошки? Откуда? — безмерно удивился другой голос.

— Оттудова. По всему Союзу набирали.

— Крысы зажрали, да, — словоохотливо ввязался третий. Но тетке было некогда.

Перестал качаться Невский. Закачалась улица Гоголя.

Шаги гулко отзывались в арке. Клетка стукнулась об асфальт.

Звякнула откинутаая дверца. Мир кувыркнулся. Железные прутья пихнули Таню в бок, Танино тело ответило извивающейся судорогой. По всем четырем лапам ударил снизу асфальт.

Другая клетка так и висела между небом и землей. Оттуда на Таню глядели два лунных глаза.

— Потому что я ей понравилась, а ты — нет, — надменно заметила герцогиня.

— Ну, киса, воуей, — сказал усталый человеческий голос. — Дави крыс, как фашистов проклятых.

Рука подхватила пустую клетку. И боты затопотали:

— Брысь! Пошла! Брысь!

Таня надула хвост трубой и не заставила просить себя дважды.

Вместо многих домов были щели. Вместо других — расколотые стены с отверстиями окон. Но хуже всего был запах. Собой пахла только Нева. Здесь, на улицах, в дворах-колодцах, среди домов, Ленинград не пах Ленинградом. Как будто зима унесла с собой его обычный запах.

Он пах плохо, тревожно. То ли от того, что в этом запахе прибавилось. То ли от того, чего в нем больше не было.

Запах и крысы. Таких наглых тварей Таня еще не видела.

Она пощупала языком ранку на плече: там ее достали острые прямоугольные зубы перед тем, как стать зубами мертвыми. Рана саднила. Таня изменила своему правилу. Села посреди тротуара, раскинув хвост, изогнулась — и принялась вылизываться.

Язык ее замер, ухо обернулось. Шагов было много. Но все нестрашные. «Дети», — хмыкнула она и снова заработала языком.

Из арки, точно, вышли дети. В парах держались за руки, те, кто позади, цеплялись за подолы впереди идущих. Треугольные прозрачные личики были серьезны. Воспитательница напоминала курицу. Тощая облезла курица. На шее болталось много лишней кожи. Таня улыбнулась краешком черной губы: усы приподнялись.

Задняя пара тотчас наскочила на переднюю. На ту — своя задняя. Малыши стучались, как костяшки домино, пока не остановились все.

Они увидели Таню.

Множество пар глаз. Круглых. Изучающих. Смотрели на нее.

«Я кажусь им красивой, — не без самодовольства подумала Таня. — Кошки всем кажутся красивыми». Она эффектнее выгнула спину. Пусть любуются, не жалко.

— Кто это, дети? — с преувеличенным воодушевлением засуетилась воспитательница. — А ну-ка, кто первый скажет?

Дети молчали.

«Стесняются, — с симпатией подумала Таня. — Или говорить еще не умеют». Старалась глядеть на малышей приветливо.

— Кто же это?

— Гав-гав? — предположил белоголовый малыш.

Воспитательница удивилась:

— Почему гав-гав, Ваня? Леночка, ты.

— Гав-гав? — предположила та, которую звали Леночкой.

— Гав-гав! — обрадовались вразнобой все остальные. — Гав-гав!
Некоторые присели на корточки. Старались заглянуть Тане в глаза.
— Гав-гав, — нежно и с веселым удивлением повторяли они. — Гав-гав.

И только воспитательница не радовалась.

— Дети, дети, — суетилась, подскакивала она, еще больше похожая на курицу. А лицо сделалось жалким. Таня заглянула ей в глаза и все поняла.

— Дети, это мяу-мяу. Мяу-мяу!

— Мяу-мяу? — спросил кто-то из малышей. С интонацией: «Не может быть».

«Они никогда в жизни не видели кошек», — потрясенно поняла Таня. Все верно. За всю их маленькую жизнь ленинградцы успели съесть всех кошек.

— Мяу-мяу! — отчаянно убеждала воспитательница. — Мяу-мяу! — мяукала она.

Взрослая женщина стояла посреди улицы и громко мяукала. Но смешно не было.

Таня посмотрела ей в глаза. Подошла и потерлась грязноватым боком о ее ноги.

Глава 24

— Оружие! — обрадовался Ловец снов. — Небывалое! Чтобы всех! Вот это я понимаю! Мой человек!

Взял глаз. Сунул в рот. И проглотил.

Ответил на Бобкин немой вопрос:

— Так надежнее.

— А коробочка? Они там не разбегутся? — беспокоился Бобка. Коробочку отсюда видно не было.

— Я надеюсь, что разбегутся! На это весь мой расчет! — веселился Ловец снов.

Он уже не притворялся врачом. Был как есть — в серой шляпе с обвислыми полями.

Сунул два пальца в рот и свистнул.

Бобка замер.

Ничего не случилось.

— Ну вот. — Он махнул серым рукавом туда, где Бобка оставил спичечный коробок с жуками.

— Брехун! — бросился на него Бобка. И замер.

Сперва Бобка их услышал.

Грохнуло.

Потом опять.

Потом мир двинуло. Как будто небо поехало на сторону.

И тогда Бобка их увидел.

— Мабочка, — просипел Бобка без голоса. Уши тотчас перестали слышать. Мира больше не было — только каменный грохот.

Бобке показалось: Уральские горы — вставали.

Протягивались вперед ступни. С грохотом распрямлялись колени. Локти. Разгибались спины, хрустя занемевшими сяжками так, что с неба падали птицы. Поворачивались шеи. Отверзались пещеры глаз. Ущелья ртов. Смыкались с лязгом и размыкались жалва.

Гиганты потягивали ноги, руки. Как-то слишком много рук и ног.

Протянули. Встали. И Бобка разглядел. Не ноги — лапы. Колючие. У каждого шесть с одной стороны, шесть — с другой.

Бобка смотрел на них во все глаза. Жуки были чернее ужаса, чернее горя, чернее смерти.

— Кто нас звал?

Ловец снов не отвечал.

Да они и не его спрашивали.

Не его.

В окопе было тихо. Артиллерия врага молчала. От этого было так хорошо, так спокойно. Почти уютно.

Он достал губную гармошку. Щелкнул пальцами, выбивая табачные соринки. А сердце вдруг стянула такая тоска, какой он раньше не знал. Раньше ему бывало страшно, грустно, скучно, даже жутко. Но все это было не то. Такой тоски еще не было — тут не пой, тут вой.

«На ровном месте, главное», — удивился он.

Щелкнула рядом зажигалка. Кто-то спешил закурить. Пламя на миг осветило белки глаз. Милые. Товарищи. Ждут песню. Чтобы развеять сердце, помечтать под гармошку о доме.

А у него самого на сердце почему-то чернее некуда. Будто помирать собрался.

В котелке забулькало. Обещая какао.

Вот, кстати, странно. По-русски если написано «какао», то будет то же самое — как родное: какао.

Нет, не собирается он помирать.

Не здесь, во всяком случае.

«Если бы только все каким-то чудом прекратилось», — подумал он. Все это: и окоп, и тишина, и война.

И этот проклятый ветер.

Разыгралось вдруг. Сыплет дождем. И снег пошел! Черт подери. Лето уже почти. Так нет, опять снег! Сверху, снизу, со всех сторон. Взялся ниоткуда. Может, поэтому русские пушки замолчали? Может, поэтому тихо?

Грохнуло так, что котелок подпрыгнул. Что он выронил гармошку. Потекла горячая вода. Все вскочили, вскрикивая, суется, хватая оружие, стучаясь касками — о стены окопа, друг о друга.

А потом грохнуло еще, еще и еще.

Как не могла грохотать русская артиллерия. Как никакая в мире артиллерия не могла.

Как будто по земле, предназначенной для людей, брели, переступая твердыми колючими лапами — шесть с одной стороны, шесть с другой, — гиганты.

Глава 25

Бобка явно страдал в молчании, которое сам себе назначил. Шурка даже начал его жалеть. Но лезть с расспросами? Первым мириться? Ни за что.

Луша ворвалась в дом. Платок сбился. Щеки красные. Улыбка до ушей. Выпала:

— Пляшите! Ура!

Шурку окатило жаром. У Бобки выпала из руки ложка. Победа? Валя большой? Письмо? Они не успели подумать ничего. Чужой, какой-то прыгающей походкой вошел дядя Яша.

— Пляшите, — радостно повторила Луша.

Лицо у дяди Яши при этих словах чуть дернулось.

Луша запнулась, покраснела. Из-под мышки у дяди Яши торчал костыль. Одной ноги не было.

Но какая разница! В тот же миг Шурка сорвался со стула, подлетел. Впечатался в дядю Яшу с такой силой, что, казалось, его не оттянет даже трактор.

— Вот, — сказал дядя Яша, глядя Шурку, глядя на Бобку. — Здорово, бойцы.

А Бобка так и сидел.

— Собирайтесь.

Бобка не двинулся.

— Где ж только вас положить? — Луша наклонилась к огнедышащему ротику печки. — Полон дом. Ну да придумаем!

Луша ходила по комнате взад-вперед с Вале́й маленьким на руках. Она ходила, а Валя маленький все поворачивал голову — не сводил внимательных глаз с человека в форме. Думал, наверное: а вдруг это папа?

— А не надо меня никуда класть, — ответил дядя Яша. Костыль его был прислонен к столу.

— Солдат, — кивнула Луша, потряхивая Вале́й маленьким. — На полу, товарищ, поспите?

— На полу товарищ поспать может. А только мы сегодня же с эшелонам все и поедем.

— Как сегодня? — остановилась Луша.

— Да мне и рассиживаться-то, собственно, некогда. На крыльце девочка ждет.

— Какая девочка? — выдавил Шурка. А глаза у Бобки стали круглыми.

Таня!

А у Шурки пронеслось: «Ну дядя Яша артист! Оставил Таню на крыльце!»

— Так зовите же в дом! — замахала рукой Луша. — Всех накормим, всех положим. Придумаем!

— Стесняется она, — объяснил дядя Яша.

«Танька?» — удивился Шурка.

Бобка смотрел на него так, будто дырку сверлил. Будто надеялся, что Шурка без слов прочтет вопрос. И Шурка прочел: «Значит, сработало?»

— Чего расселись, как на именинах? — удивилась Луша. — Там сестра ваша, а вы сидите — глазами хлопаете.

Если бы Валя большой там стоял, она бы не сидела.

— Идите, идите, — подтвердил дядя Яша. Но каким-то помятым голосом. Как будто с Таней что-то не так. Как будто она какая-то не такая. Без руки, например. Радость наконец дошла до Шурки.

«Да хоть какая!» — встрепенулся он. Главное — Таня!

— Таня! — завопил Бобка и наконец сорвался со стула.

Лицо у дяди Яши при этом как-то остановилось, слова не сумели вылететь из открытого рта.

А Бобка уже тянул дверь за ушко. Уже пихал его в спину Шурка. Каждый старался увидеть первым.

— Таня! Танька!

Оба выкатились на крыльцо. И остолбенели тоже оба.

Маленькая черноглазая девочка смотрела на них испуганно. Пальцы теребили тряпичную куклу.

Перед глазами у Шурки потемнело. Застучало в висках. «Я, наверное, сейчас грохнусь», — испугался он. А Бобка захихикал как дурачок.

— Вот, — сказал за их спинами голос дяди Яши. По-прежнему какой-то скомканный.

— Это же не Таня, — выдавил сквозь смех Бобка. Он все еще надеялся, что это шутка. Что Таня просто подговорила эту шедшую по своим делам девочку. Подговорила их немножко подурить. И сейчас выскочит из-за кустов: «Та-да-ам! Обманули дурачка на четыре кулачка».

— Девочка, ты кто? — выдавил Шурка.

Дядя Яша нахмурился.

Девочка молчала. Теребила куклу. Противную, грязную — два глаза, рта нет.

— Это Сара, — ответил за нее дядя Яша. Голос у него был такой, будто дядя Яша переходил по льду Неву и не был уверен, прочно ли. Девочка посмотрела на него. Перевела темные глаза на Шурку, на Бобку. И снова потупилась на свою тряпичную куклу с нарисованными чернилами глазами. Ни слова. «Не слишком-то вежливо», — с неприязнью подумал Шурка. В голове его все каталось, все стучалось: «Таня. Таня. Таня».

— Сара не говорит, — ответил за нее дядя Яша. И добавил страшное: — Она теперь вам сестра. — Неловко улыбнулся: — Все едем в Ленинград. Ура.

— Не поеду! — заорал Бобка. — Отстаньте! Не поеду!

Выскочила Луша. Бобка к ней. Обхватил. Вцепился в юбку, кофту.

— Не поеду! Не могу! Не могу больше!

— Ты что? Ты что? — обнимала, гладила Луша. Виновато поглядывала на дядю Яшу. На девочку.

— Не могу больше любить заново. Я устал. Не могу, не могу больше, — стонал, жаловался Бобка Лушиной юбке. — Никуда я не поеду. Не отдавай меня! Не отдавай!

Глава 26

— А мы вам сейчас эти досочки быстро к делу применим, — ловко нагнулся дядя Яша.

Шурка удивился: сколько у Луши прожили, а что ровной штукой сложены досочки под лавкой — не замечали. А дядя Яша заметил сразу. Ровно напиленные Вале́й большим — чуть длиннее, чем надо младенцу: в самый раз.

— Есть у вас молоток? И гвозди.

— Есть! — радостно выкрикнул Бобка.

— Нету, — холодно посмотрела на него Луша. Бобка не понял. Дядя Яша — не заметил.

Он быстро переносил свое тело по избе странной прыгающей походкой. К ней тоже надо было еще привыкнуть.

— Что же парень ваш в комодке спит. Есть гвозди? — повторил настойчивее. — Я вам живо кроватку эту сколочу.

Но Луша почему-то не обрадовалась.

— У ребенка свой отец есть, — ответила сурово. — Вернется. Сколотит.

Дядя Яша почему-то покраснел. Забормотал.

И к девочке этой, Саре, тоже надо было привыкать.

От этой мысли стало тошно.

Проснулся он среди ночи. Рука сама потянулась за костылем. Как раньше — ноги сами спускались на пол, в тапки.

На полу — лунный прямоугольник. Дети спят. Сара тоже спит. Удивительно. Но к счастью. Пусть! Сам он так давно не может. Выпить бы. Тогда провалишься в чистую пустую темноту. Но какое у нее выпить, у бабы этой деревенской. Нет, Репейск, конечно, город. А живет — будто девятнадцатый век. Изба, тараканы. Нищета. Такая, что сердце сжимается.

Осторожно перенес вес. Сначала на руку. Потом на костыль. Распрямился. Удержался. Оперся на стол. Нет, обошлось. Главное — не стучать деревяшкой. Была резиновая нашлепка на конце, была. Да отвалилась где-то, как подметка от ботинка. Вот, кстати, до сих пор не было времени подумать: ботинки-то теперь как покупать? За два платить? Жалко. Дорого. Работу-то с одной ногой — кем работать? А детей теперь трое. «Четверо», — испуганно поправил он себя. Но знал, что сам уже не верит.

Столько видел с тех пор, как легко и быстро умирают люди. Что живут — теперь гораздо неожиданней, удивительнее. Поверишь тут. Ни Вера, ни Таня не подавали вестей. С тех пор. Ни следа.

Открыл дверь. Осторожно спустился на крыльцо.

Зажал костыль под мышкой. Прикурил.

Внизу темнота — ни огонька. Будто нет там никакого города. А может, и правда нет?

По другую сторону протянулась сероватая полоска. Там будет рассвет. Опять это дурацкое чувство, будто глядит кто-то. Затаил дыхание. Точно, глядит. Два зеленых огонька. Собака бродячая, не иначе.

Дядя Яша махнул костылем. Огоньки отпрянули. Пропали. Он потерял равновесие. Запрыгал на одной ноге. Упал.

Луша поставила миску на землю.

Вынырнул из утренних сумерек пес. Черный, лохматый. Сунулся теменем Луше под руку.

— Еще чего не хватало, — пробурчала она. — Не шастай сюда больше. Понял? Прикормили на свою голову.

Но пыльный лобик погладила.

Пес начал шумно лакать.

Глава 27

Люди на полках лежали, сидели. Читали, курили, разговаривали, ели. Вставали, входили, выходили. Останавливались, заинтересовавшись. Перегородок между полками не было.

Шурка этому скорее радовался. В рокоте чужих голосов, под взглядами множества глаз легче было молчать.

Бобка показывал спину. Делал вид, что смотрит в окно. И все щупал карман: не выронить бы бумажку — Лушин адрес.

Дым сизыми струями плавал в проходе, поднимался к потолку.

Дядя Яша тоже курил. Много. Как будто папироса во рту — вот и разговаривать не надо.

Дядя Яша был другим. Не как раньше. Как будто вместе с ногой ему отрезали что-то еще.

Девочка Сара, как вошли и нашли свою полку, сразу вжалась в угол. Пальцы стиснуты вокруг куклы. Казалось, с тех пор и не двигалась. «Она хоть в туалет ходит?» — думал Шурка. Туалетом было ведро за загородкой, которое выносили на станциях. Но и до него нужно было идти.

Сару дядя Яша «подобрал». Больше он не объяснил ничего. Да и не требовалось: тех, у кого есть мама и папа, или хотя бы тетя с дядей, или бабушка, тех не «подбирают».

Саму Сару Шурка не расспрашивал. Только поглядывал исподтишка. Сара тискала свою куклу. Кукла лупилась чернильными глазами. Рта у нее не было. То ли не позаботились начертить, то ли на лице не хватило места. Да и не лицо это вовсе — узелок, завязанный посреди носового платка. На замызганных уголках видны были посеревшие стежки вышивки.

Безротое лицо куклы действовало Шурке на нервы. «Какая противная», — подумал он. И сам устыдился. В Ленинграде полегчает, надеялся он. Но сам не очень верил. Он понял, чего больше не было в дяде Яше, что оттяпала война, — надежду.

К счастью, притворяться было легко.

Разговаривали другие.

— Сталинград, — уверенным тоном знатока вещали с одной полки. — Это всей войне поворот.

— Сломал немец зубы о Сталинград, вот так-то. Сломал.

— Да уж, товарищи, сломало немцев под Сталинградом — будь здоров.

— А нечего было соваться.

Сара все теребила грязные кончики платка. Все таращилась кукла.

Разговорился и дядя Яша. На полку к ним подсели двое военных — один с рыжеватыми усами, другой с перевязанной рукой.

— Нога как? — Выпустил изо рта сизый, вокруг самого себя переворачивающийся завиток. — А так, товарищи. Чистое везение.

— Ногу оттяпали, хорошенькое везение, — пробормотал усач.

А с верхней полки потянулся бдительный голосок:

— Это что вы имеете в виду, товарищ? Повезло, что с передовой вас списали?

Тот, с перевязанной рукой, неожиданно быстро сорвался с полки, вскочил, схватил здоровой рукой говорившего за грудки, притянул — так что голосок захрипел, заклохотал.

— А ну повтори! — встряхивал его перевязанный. — Повтори!

— Шутка, — прохрипел тот.

— Пошутить мне еще. Шкура. — Толкнул его обратно на полку. Вагон смотрел одобрительно.

— Мина, — вновь заговорил дядя Яша. — Минометная. Нас обстреливали. Но дело не в этом. Стою. А мне в грудь — бац. Я повалился. И понял, что не ранен, не убит, а в меня — представляете — с лету врезалась птица.

— Бедная, — вздохнул кто-то. — Зверей почему-то особенно жалко.

— Видно, шугануло ее обстрелом. Заметалась.

— И тут уже повалились мины. Если б я не упал, если бы птицей меня не шарахнуло... И ногу не пришлось бы отнимать, а самому мне каюк бы был. Где я стоял только что — ровно там и бахнуло.

— Ишь ты.

— Повезло.

— Стечение судеб.

— А что за птица хоть? Большая?

— Вот такая примерно, — перехватил папиросу зубами и развел ладони дядя Яша. — Полоски тут, — показал на себе. — И тут.

— Кукушка, — вздохнул кто-то. — У нас в деревне кукушки как заведут свои песни.

Каждый вспомнил свою мирную жизнь.

— Есть произведение такое, старинное русское. «Слово о полку Игореве» называется. Там Ярославна, тоскуя, мечтает стать тоже кукушкой. «Обернусь я, бедная, кукушкой, по Дунаю-речке полечу и рукав с бобровою опушкой, наклонясь, в Каяле омочу».

— Зачем?
— Там возлюбленный ее, Игорь. Воюет.
— А.
— Кукуют — кому сколько жить осталось.
— У нас в деревне они часами кукуют.
— У вас в деревне, значит, долгожители, — рассмеялся кто-то. — И ты живой-здоровый вернешься, значит.
— Кукушка, — подтвердил дядя Яша.

Поезд начал постукивать все реже. Потом ткнулся, так что все накренились в одну сторону, а потом так же вместе откинулись в другую. И встал. Как ни в чем не бывало. Как будто приехать в Ленинград было обычнейшим делом.

Шурка чувствовал, что дрожит в своей куцей курточке.

Холодная ладонь легла в его. Он глянул. И чуть не выдернул руку. Это была Сара. Она и кукла смотрели прямо перед собой. Шурка сжал руку крепче. А другой сам взял Бобку. Почувствовал, как Бобкины пальцы тотчас пожали его. И все, все простил.

— Идем, — вскинул на плечо вещмешок дядя Яша. Другой рукой сунул под мышку костыль.

Шурка глядел во все глаза.

Посеревший, весь в ссадинах — свежих или уже рубцующихся. Словно бы осунувшийся, но все еще красивый. Это был он, Ленинград.

У Шурки шумело в ушах.

Сейчас он увидит ту квартиру. Где бежал по стене мишка. Где Король игрушек. Где Таня. Где Бублик. Где дворничиха сидела в лунном свете. В ту квартиру. Только без мишки, Короля, Бублика, дворничихи. И без Тани.

Бобка, видимо, подумал о том же: ноги стали заплетаться, шаркать.

И только Сара просто шла: прижимая свою куклу так, чтобы и кукла — смотрела.

Вот перекресток.

Но дядя Яша не остановился. Спрыгнул на мостовую, застучал по ней костылем. Шурка с Бобкой переглянулись.

— Идете? — позвал дядя Яша.

— А нам разве не туда?

— Нам не туда. — И снова застучал костылем.

«Конечно, — успокоился Шурка. — Дядя Яша не знал, что мы жили там».

Но шли и не на ту квартиру, где жили до войны. От нее надо было

сворачивать с самого вокзала.

И даже не на самую старую, где тетя Вера и дядя Яша жили до того, как арестовали маму с папой, — возле мечети.

Они шли по Невскому дальше. Уже видна была улица Третьего июля. Пропустили трамвай. Перешли проспект. Свернули в арку. Прошли серый двор-колодец. Здесь дом уже не выглядел нарядным даже и до войны. Здесь была его изнанка. С маленькими окошками и низко надвинутой крышей. Парадная осталась с другой — именно что с парадной стороны. Поднялись по ступеням к подъезду. По лестнице. Дядя Яша прыгал впереди на одной ноге.

— Это не наша квартира, — подал голос Бобка.

— Нет, — выдохнул между прыжками дядя Яша.

— А где все? — не унимался Бобка.

— Кто?

— Кто здесь живут.

— Умерли, — просто ответил дядя Яша.

Перехватил костыль, упер его в пол и пошел к двери, на которой не было табличек с именами жильцов, а только пустые дырочки от гвоздей, которыми они были прибиты, от шурупов, которыми они были прикручены, от булавок, которыми они были приколоты.

— Все умерли, — сказал тускло дядя Яша. — А мы живы.

И вставил ключ.

Квартира будто отпрянула от них. Убежал рукавом длинный коридор с множеством дверей.

Пустая, гулкая, в подпалинах — от сгоревшей за зиму мебели, от улетевших дымом в окно книг. Все четверо сразу разбрелись по ней, как по лесу.

«Мы вернулись», — с тоской думал Шурка, глядя на незнакомый узор обоев.

— А какая комната наша? — крикнул он. Отскочило от стен эхо.

Но ответа Шурка не услышал. Дернулись и забухали стены, потолок — колотило по ребрам сердце. С подоконника коричневой пуговкой зрачка на него глядел он — сам весь похожий на каплю меда, только чуть обгоревший, подтекший с одного края.

Мишкин глаз вернулся. Ждал.

Шурка подошел.

Глава 28

— А что ты думал здесь увидеть? — недовольно спросил Ловец снов.

Дождь ронял слезки. На искореженные остоны. На раскуроченную землю. Бобка остановился на краю рытвины. Видимо, здесь ступила шипастая лапа гиганта. На дне рытвины валялась каска. Такая мягкая, что не понять, наша или немецкая. «Конечно, немецкая», — успокоил себя Бобка.

Но уверенности у него больше не было.

— Сам гляди не свались, — ворчал Ловец снов. Он закончил работу. Его ждали другие дела. — Идем, — снова позвал он.

Теперь Бобка уже ни в чем не был уверен.

Логически рассудить: что они там могли увидеть с высоты своего роста? Какие значки на форме? Гигантам все люди должны были казаться букашками. Жуками. «Неужели я ошибся? — испуганно думал он. — Неужели прав был Шурка?»

Искалеченная земля тянулась, покуда хватало глаз. И ни одной живой души.

Люди были. Повсюду. Но снег на их лицах не таял.

Войны здесь уже не было. Она откатилась. Она катила прочь из советской страны.

Вот только никто не мог сказать, как сожалеет, что напал на Советский Союз. Как нас боится. И никто не мог подтвердить, какие мы грозные: прогнали врага.

Снег не таял у них на губах.

— Смотри давай. Смотри, — водил руками, приглашая, Ловец снов. — Все? Доволен? Ведь я сделал, как ты сказал? Сделал? Нет, ты посмотри. Убедись. Мне не нужно, чтобы потом глаз от меня сбежал, потому что ты якобы недоволен. Потому что я тебя якобы надул.

И Бобка шел. Брел за ним. Будто окоченев. Только бы не наступить кому-нибудь на руку. Но чтобы не наступить, надо было смотреть себе под ноги. А смотреть Бобка боялся.

Поодаль что-то шевельнулось.

— Стойте! — крикнул Бобка.

— Ну? — недовольно обернулся тот.

— Там! Кто-то живой. Вон там!

Торчал гигантский переломанный, обожженный остов. То ли танка, то ли броневика. Какие-то наросты, шипы, шишки на броне. Чудовищные

дыры. Бобка не узнавал модель. Снова шевельнулось. Жив — уже не было сомнений. И Бобка поспешил. Уже все равно было, какая модель и кто выжил — наш или немец.

Глаза уставились на него.

Полные мысли, боли, страдания. Но не жизни — жизнь из них уходила.

Жук умирал.

Из уголка огромного глаза выкатилась слеза, которую иначе было бы не разглядеть даже в лупу. Бобка успел увидеть в ней свое выпуклое отражение. Наверное, в ней и была жизнь. Потому что она выкатилась. И глаз погас.